

Алексей ГРИГОРЕНКО

ЛЕШЕК МАРШАЛОК

**Сказ о том,
как воссоединилась с Россией Украина козацкая
и как сгинула Речь Посполитая панская¹**

Глава 15. В НЕДЕЛЮ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ¹

Утром, едва рассвело, плотный туман опустился на Киев. Сырость и запах весенней реки, казалось, проникали даже сквозь закрытые окна.

Такой сумрачный март. Впрочем, как и всегда.

И все-таки — нет. Этот март 2020 года оказался особенным и ни на что виденное и известное прежде не похожий: 18 числа границы всех государств закрылись и началась новая эпоха нашей жизни: некий коронавирус, подлая болезнь сродни чернобыльской радиации, которую глазом вовсе не увидеть, показал вживе всем нам, сколь призрачна и зыбка наша жизнь... Но это уже другая не-история, к сожалению...

Снег сошел и на газонах уже робко зеленела трава, но до лета, щедрого, полного жизни, движения и надежд, было еще далеко. Стоя возле окна, я расслышал, как на склонах киевских гор, в улицах и на проспектах просыпающегося города тихо и сокровенно, почти что неразличимо перезваниваются друг с другом церковные колокола, — ну как же об этом забыть: первое воскресенье Великого поста, называемое от века Торжеством православия. И даже неважно, что отсюда, из моего обиталища, нельзя различить, какие звоны «канонические», а какие «неканонические», — вот ведь какая гримаса приключилась с нами на независимой ни от кого Украине, — целые три деноминации, называющие себя по имени православными, имеем мы на любой цвет и вкус, взаимно же друг друга с негодованием отрицающие, — все, как говорится, для человека, — только приди к нам и отдай свою душу. Ну и денег немного, по силам... Московский патриархат в лице УПЦ, Киевский патриархат под водительством бессменного, бессмертного и непотопляемого, анафемствованного, ко всему прочему, Филарета Денисенка и Украинская автокефальная церковь, так называемая «липовская» или «самосвятная», извода бурного для былой имперской церкви 1921 года... Здесь же — и униаты, греко-католики, со скромностью примостились под православной личиной, приросшей к ним за 400 лет мимикрии, и тоже призывно звонят в колокола, давным-давно крепкой стопой ступили в Киев они из галицких подвалов и схронов... Сегодня они уже требуют от Рима статуса «патриархата», а от здешних временщиков-президентов — статуса чуть ли не единственной по-настоящему патриотичной религиозной деноминации, имеющей, по их мнению, все основания считаться — ни много, ни мало — «верой отцов»... Поднять бы из забытых могил козаков Сагайдачного — ужаснулись бы и не поверили увиденному и услышанному, сами зарылись бы поскорее в землю обратно, да и поглубже. А строки украинского гимна:

¹ Главы 1-14 опубликованы в №15 «Невского проспекта».

*«Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду...»*

— стоит прокомментировать особо из-за их терминологической и вероисповедной, скажу мягко, неточности. Уже автор этого текста 1862 года, Павел Чубинский, происходивший из обедневшего рода польских дворян, похоже, не различал неподобающей двусмысленности этого помянутого «козацького роду» — козаки, как я уже говорил, были ревностными православными, угрожавшими даже своему митрополиту Иову Борецкому, а последователей церковной унии они вообще предавали смерти без колебаний. Но Чубинский об этом, вполне вероятно, если и знал, но просто забыл, то о нынешних греко-католиках, распеваящих этот гимн от всего сердца и во всю мощь молодецкой груди в Раде и на майданах украинских городов, сказать совсем нечего. Все — от первого до последнего, от праведного и до неправедного — звонят в колокола, проповедают всеобщую милость, любовь и добро, приглашают на праздник и торжество...

Что тут есть истина? — так и хочется спросить, перефразируя слова Пилата, обращенные к Иисусу Христу.

Христос промолчал. Так и сегодня простой обыватель не сможет внятно ответить на этот вопрос. Прокуратор в древней мятущейся Иудее задавался этим вопросом, но сегодня — это вам не две тысячи лет тому прочь, и не Иудея к тому же — славный град Киев празднует Международный женский день и чтит своих тружениц, матерей, жен, возлюбленных и дочерей. Так что какое тут Торжество православия, если как раз и выпал день этот на пресловутую «Клару Цеткин», как мы в юности называли с моим сгинувшим дружбаном Сероштаном день праздника 8 марта, и народ, само собой разумеется, вместо того чтобы отправиться в храм и свидетельствовать о своей вере, за которую всего 200-300 лет тому назад отдавали жизнь их предки и которую в войнах боронили, отстаивали и провозглашали как непреложную истину запорожские и городовые козаки Южной Руси, бежит к смуглолицым улыбчивым торговцам цветами и покупает тюльпаны-мимозы для своих «половинок». Все бурно радуются и отправляются выпивать.

Тут можно было бы сокрушиться духом и посетовать, если бы время приостановило свой бег, а уж тем более если бы возможно было повернуть время вспять, отменить то или это, пережить заново все, но уже по-другому, вразумить горячие головы в прошлом, стать кем-то вроде пророка и открыть неразумному люду те бездны несчастий, падений и ужасов, ожидающих народ за преступление заповедей и законов, за нарушение как духа, так и буквы — ради мнимой свободы, ради миражей и обмана с «землей», «заводами», «миром во всем мире»...

Однако подошло время выходить в храм. Моя Лика давно уже отправилась в Лавру на раннюю литургию. Не может по состоянию нынешнего своего девичьего здоровья причащаться на поздней, не вкушать и не пить до полудня. Я же по лености собирался в Ильинскую, она совсем рядом, через пару кварталов от нас, на Почайнинской. Мы живем на Подоле и издавна являемся прихожанами этого храма. По примеру средневекового епископа Григория Турского, составившего в 6-м веке драгоценную «Историю франков», который предварил свой замечательный труд полным исповеданием Никейского символа веры, ввиду буйствовавшего вокруг него арианства (что и сегодня насущно — да и всегда — но сегодня в особенности), следует и мне, ввиду общей нашей конфессиональной неразберихи, отметить, что наш храм принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. Ну, а как несостоявшемуся историку, мне остается добавить еще весьма существенную деталь о том, что, по мнению ряда исследователей, Ильинский храм является чуть ли не старейшим церковным объектом в Киеве. Ну, само собой разумеется, не сегодняшний храм, куда я отправился, — он поздний и построен в конце 17-го столетия семьей киевского мещанина Петра Гудымы, а тот, что стоял на его месте в домонгольскую пору. В 2015 году исполнилось — ни много, ни мало — 1070 со дня упоминания о нем самим преподобным Нестором Летописцем в «Повести временных лет». Не обошлось и без легенд, которые за давностью лет невозможно проверить: согласно преданию, его построили киевские князья Аскольд и Дир. В Византии, которую они воевали, по заведенному в ту пору обычаю, князья стали свидетелями некоего чуда, под впечатлением от которого крестились, а по возвращении в Киев построили этот храм. Существует также мнение о том, что крещение киевлян в 988 году произошло как раз именно здесь, благодаря удобному расположению храма на берегу Днепра и Почайны, притока его. Так ли это или иначе — по сути, ведь и неважно. Но, признаюсь, эти легенды греют мне душу. Такой вот слабый я человек...

Сладкий, наркотический яд лжеименного исторического знания, о котором я уже рассказывал прежде, принес мне по жизни не только радость открытий, но гораздо больше горьких утрат и поздних прозрений. Я уже шагал по Почайнинской, а в памяти

пузырились старые дрожжи, и я думал о том, как же все изменилось, измельчало, свелось на нет, — и даже в строе сегодняшнего богослужения, в частности, в этом Чине Торжества, в котором по определению мало что должно было измениться, все равно все уже не то и не так.

Торжество этого дня оскудело даже словесно, о духовном же умолчу, и если ты не присутствуешь на архиерейском богослужении в кафедральном соборе крупного епархиального центра, то можешь и не услышать ничего, кроме разве что нарочитого возглашения символа веры. Но, может быть, и этого сегодня достаточно. Сознание нынешнего человека весьма отлично даже от того детерминированного, задавленного беспросветностью существования и физического выживания посполитого крестьянина, мещанина, хуторянина-козака минувшей польской поры, затем уж имперской петербургской поры, которые, вполне вероятно, не сильны были в грамоте и в каких-то специальных познаниях, но, приходя в храм в Неделю Торжества православия, слышали важные вещи, определявшие строй их жизни. В частности, слышали имена бунтовщиков, преданных проклятию церковью, слышали наименования ересей, о которых сегодня практически ничего неизвестно. В этом смысле примечателен собор 1690 года под председательством Московского патриарха Иоакима, который анафематствовал «хлебопоклонническую ересь», осудил на сожжение сочинения Сеньки (Сильвестра) Медведева и запретил читать многие книги южнорусских ученых, «имеющих единомыслие с папою и западным костелом», среди которых не только сочинение Медведева было, но и писания Симеона Полоцкого, Галатовского, Радивиловского, Барановича, Транквилиона, Петра Могилы и другие. О «Требнике» Петра Могилы прямо сказано, что эта книга преисполнена латинского зломудренного учения, и вообще о всех сочинениях малорусских ученых замечено, «что их книги новотворенные и сами с собою не согласуются, и хотя многие из них названы сладостными именами, но все, даже и лучшие, заключают в себе душетлительную отраву латинского зломудрия и новшества»... Это — слева, а справа, с другой стороны, Иоаким яростно громил старообрядцев... И не только словесно, надо сказать. Такие вот парадоксы эпохи...

Так что мало никому не показывалось в ту пору.

Но как тут мне и не ухмыльнуться все-таки было: Могила с Полоцким не нравились москвитам? Да вот уж не за горами шагал к ним из самого Рима просвещеннейший и распрекрасный Феофан Прокопович — и кто мог остановить наступающий век петровских преобразований?.. Через триста лет в виде фарса все повторилось: обер-прокурор Священного синода К.П. Победоносцев в отчаянии от тотального духовного и нравственного разложения предлагал правительству немного «подморозить» Российскую империю, чтобы гангрена близкой революции замедлила с распространением, но державный локомотив, теряя по пути колеса, уже летел в пропасть, и местной анестезией дела было никак не исправить.

— Это вместо интернета и телевизора было тогда, — подытожила моя Лика, когда я накануне на кухне за чашкой козацкого чая провел с ней очередную политинформацию и помянул о московском соборе 1690 года. — Ну а откуда еще народ мог узнать о тех бедах, которые валились на него отовсюду? Только с приходского амвона...

В 1708 году в «черные списки» проклятий, возглашавшихся во время чтения Чина Торжества православия, добавилось имя изменника-гетмана Ивана Мазепы, ходившего прежде в Петровых любимчиках. Когда учрежден был царем главный орден империи во имя апостола Андрея Первозванного, вторым, кого монарх удостоил им, был именно гетман Мазепа. Тем подтверждалась не только самоотверженная верность Мазепы Петру, но и первостепенная важность пребывания юго-западных малороссийских земель в общеимперском составе. Должно быть, странно звучало анафематствование орденоносца «Ивашки» под сводами киевских и других малороссийских храмов, построенных в свое время его тщанием и на его деньги:

«Новый изменник нарицаемый Ивашка Мазепа, бывый гетман Украинский, или паче антихристов предтеча, лютый волк овчею покрытый кожей, и потаенный вор, сосуд змиин, вне златом блестящийся, честию и благолепием красящийся, внутрь же всякия нечистоты, коварства, злобы диавольския, хитрости, неправды, вражды, ненависти, мучительства, кровопролития и убийства исполненный. Ехиднино порождение, иже аки змий вселукавый, яг свой злог умышления на православное государство чрез долгое время начальства своего потаенный, изблева прошлого 1708 года в месяце декемврии, презрев толикая благодеяния Божия, и крайнюю неизреченную к себе государеву милость и любовь, ковалерством превысоким от него почтенный.

Сломал веру и верность, на крестном целовании обещанную и утвержденную. И аки второй Иуда предатель, отвержеса Христа Господня и благочестивыя державы благочестивейшаго государя царя и великаго князя Петра Алексиевича, всяя великия и малыя и белыя России самодержца. И привержеса (врагу Божию и святых Его, проклятому еретику) королю шведцкому Карлу второму надежась, впровадил его

в малороссийскую землю иже церкви Божия и места святая осквернил и разорил. И бысть ему шведскому королю помощник и поборник в брани, и на благодетеля своего и государя, разбойническую воздвиге руку, хотя малороссийскую землю, аки прегордый люцифер, хоботом своим изменническим и разбойническим от благочестивой и великороссийской державы отторгнути. Но не поможе ему Господь сил тое свое диавольское умышление и злобу совершити; ибо силою Божию, мужеством же и храбростию непреодоленного монарха нашего: благочестивейшаго государя нашего царя и великаго князя Петра Алексиевича, всея великия и малыя и белыя России самодержца; и его победоноснаго воинства побеждены суть вся полки неприятельския, под городом Полтавою, в прошлом в 1709 году, месяца июня в 27 день, тако преславно, яко едва сам король швейския и оный изменник Мазепа убеже к Турскому порту под зашитие. И тамо окаянный по немногих днех злобу свою и житие сконча, и хотя взыйти на небо, и бытии подобен вышнему, до ада низведеса.

Тем же яко сын погибели за таковую свою измену отступничество от благочестивой державы, предательство же и поднесение рук разбойнических и брани на Христа Господня, своего благодетеля и государя, со всеми своим единомысленики, скопники и изменники, да будет проклят!»

До 1869 года в день Торжества православия имя гетмана Мазепы ежегодно упоминалось в чине анафематствования. Имя это стало ругательством, синонимом помянутого новозаветного Иуды Искарота: гетман называется «вторым Иудой», «сыном гибельным» и «диаволом норовом». В этом списке самых страшных государственных преступников уже присутствовал «аспид, испущающий яд свой, уязвляющий телеса невинных», как назвал патриарх Иоасаф Стеньку Разина, и самозванец Гришка Отрепьев, затем поочередно добавлялись Емельян Пугачев (анафема была снята с него перед казнью, ввиду покаяния) и другие, будущие любимцы социалистического искусства и литературы, сложившие свои буйные головы ради свержения проклятого царизма. Но вот Мазепа при советах, в отличие от великорусских разбойников и бунтовщиков, не превратился из антигероя в героя книг и голубого экрана — не повезло ему как-то. Соцреалисты из печерских писательских домов-крепостей, неустанно воспевавшие Сталина, Ленина и Кармелюка, так и не дерзнули потревожить тень опального гетмана высоким художественным словом. Хотя, как я уже сказал, с 1869 года эти списки перестали грозно зачитываться под церковными сводами в день Торжества православия, — трудно сказать, что стало причиной того. Но, думаю, общее оскудение самого духа Синодальной российской церкви, задыхающейся в смертельных любовных объятиях имперского государства. Да и подзабылись уже исходные обстоятельства, пылью припали. И уже позже гораздо, во времена окончательной гибели Российской империи, украинские самостийники, которых неслучайно именовали «мазепинцами», настойчиво потребовали от патриарха Тихона снятия церковного проклятия с мятежного гетмана, и вроде как митрополит Антоний Храповицкий в 1918 году даже отправил такой запрос патриарху, но в московских церковных архивах так ничего и не нашли до сих пор. Вопрос завис на целое столетие, не решен он и до сей поры. Хотя Иван Мазепа со времени распада СССР в 1991 году считается и почитается патриотом Украины и борцом за ее независимость. Впрочем, как и Степан Бандера. Векторы поменялись, и воспитание «безмолвствующего народа» развернулось в обратную сторону.

Так что — явочным порядком — ни во что ставится ныне «анафема», произнесенная петровскими епископами поры Полтавской виктории:

«9 ноября 1708 года в Троицком соборе Глухова в присутствии Петра I митрополит Киевский, Галицкий и Малья России Иоасаф (Кроковский), родом из Львова, в сослужении гругих архиереев, по происхождению украинцев: святого архиепископа Черниговского и Новгород-Северского Иоанна (Максимовича) и епископа Переяславского Захарии (Корниловича) совершил литургию и молебен, после чего «предал вечному проклятию Мазепу и его приверженцев».

Так писал Д.Н. Бантыш-Каменский в «Истории Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства».

На книжных полках сегодня уже красуется целая библиотека, посвященная личности и судьбе украинского гетмана, где, кроме детских книг вроде какой-то Анны Ручей «Иван Мазепа и я», есть также и солидные тома уважаемых авторов вроде Валерия Шевчука — «Просвещенный властитель: Иван Мазепа как строитель козацкой державы и как литературный герой», и множество других книг, исследований и монографий.

При этом как-то так естественно опускается длительная история неприязненных отношений Мазепы с запорожцами, замалчивается целая летописная библиотека его беспрестанных жалоб на них Петру I и едва ли не требование ликвидировать непослушное войско царскими словом и властью... А ведь все это подробно описано,

тексты посланий и просьб обнародованы, в частности, во многотомной «Истории запорожских козаков» Дмитрия Яворницкого, — да только никто этого не читает, вот в чем беда. Поэтому и проходит гетман под почетным званием «строителя козацкой державы»... Парадоксально и удивительно то, что когда любимый гетман-орденоносец изменил своему венценосному сюзеру, его поддержали... одни только запорожцы, которых он так ненавидел и от которых чаял избавиться при помощи преданного им императора!..

Как сказал бы на это отсутствующий Сероштан:

— И в этом тоже — особенность и противоречивость национального характера украинцев...

Доходит до анекдота уже: анафемствованный за церковный раскол в начале 1990-х годов митрополит Киевский Филарет Денисенко — тоже, как и Мазепа у Петра, баловень советского истеблишмента и коммунистической номенклатуры, кавалер всех орденов, наград и премий, по всей видимости, высокопоставленный кадровый офицер Пятого — идеологического — отдела КГБ СССР, присвоивший не только церковную кассу вкупе с Владимирским собором, но и «золото партии» Украины, которое все никак не могут сыскать, и учинивший раскол из-за личной обиды. Его не «выбрали» патриархом Московским и всея Руси, хотя он и был «председателем похоронной комиссии», когда скончался престарелый и больной патриарх Пимен Извеков, что подразумевало несомненное занятие вакантной должности, как в партии и в правительстве, так и в отделенной от государства церкви, — ныне Филарет, он же по агентурной кличке «Антонов», сравнивается с Мазепой как равнозначный по подвигу в деле обретения Украиной независимости... Ну что же: по Сеньке и шапка, как говорят на Руси...

Если независимость и суверенность — благо, то может ли благо это достигаться посредством, скажем так мягко, негодных средств — предательства и двурушничества? И не становится ли благо собственным антиподом?

И патриотический спор продолжается. Но есть ли конец у него?..

— А чего ты хотел — чтобы, как встарь, зачитывался весь список анафемствованных со времен Ария и до сварливого криминального старикашки лжепатриарха Денисенки? — спросила меня моя многомудрая Лика. — Да кто мог бы вынести это?.. Наоборот: поскорее забыть о них навсегда...

За всеми этими размышлениями и припоминаниями моими служба в Ильинском храме и пролетела — я и не заметил того. Протоиерей Захария Ковальчук прогромычал чеканными словами символ веры, и все завершилось.

Ну, я не удержался, чтобы не подтрунить тихонько над о. Виталием Косовским, настоятелем храма, когда подошел в числе других прихожан прикладываться к кресту:

— Батюшка, а что же не анафемствовали героя Украины Мазепу?.. Забыли?..

— Лешек, — сказал мне отец-настоятель, — попридержал бы ты свой язычок... Мы и так здесь, как исповедники, поминаем имя патриарха Кирилла...

Ну да, а что нам еще остается, как не подшучивать друг над другом с известной долей горести, — кто мог представить тогда, в середине 1970-80-х годов, когда Украина была практически раздавлена железобетонной плитой местного оголтелого коммунизма, и казалась на веки вечные погребенной в этом склепе, что в чистом поле поставят таможенные терминалы, оснащенные по последнему слову техники, перекроют дороги и вековые шляхи, что новая разделительная граница порой пройдет прямо по центральной улице многих сел, и сельчане будут жить в различных государствах; произойдет разделение и в семьях, и в душах; начнется война, которая продолжается уже дольше, чем Отечественная... Что еще нам остается, если не пожинать плоды нашего собственного неразумия, нашей слепоты, нашей самоуверенности и самообмана? Что остается еще — если не плакать, то хотя бы найти в себе силы для горестной шутки.

Я думал о роковом значении в контексте новой истории самой Украины, гражданином которой я являюсь, несмотря на то что несколько лет назад мы с Ликой оформили для себя так называемые «паспорта поляков». Украина стала камнем преткновения в 17 веке для Речи Посполитой и началом заката великой державы, собиравшейся на протяжении тысячелетия. Но если на сегодняшней Украине и в пугинской России мало кто способен прочесть и верно истолковать уроки недавней истории, то специалисты-кремлеведы из заокеанских аналитических центров сделали свои верные выводы. Результаты здесь налицо, и, конечно, не мне о них тут рассказывать и живописать события зимы 2014 года на киевском Майдане Незалежности.

Все это до чрезвычайности грустно, и в чем, если не в воспоминаниях хотя бы о днях своей молодости и надежд, можно отчасти утешиться? Вспомнить мирный Киев тех лет (хотя уже не за горами был Афганистан и будущие «воины-интернационалисты», по возрасту чуть младше меня, уже получали воинские повестки о призыве на «срочную» службу — для многих из них она оказалась бессрочной), вспомнить роскошный Крещатик, осенние дни, в которых будто прозрачным стеклом застыл солнечный, при-

глушенный свет; вспомнить Галюню Белик, которой давно уже нет, приехавшую покорять Киев из села Белики, которое вроде бы осталось только лишь именем, но и его уже практически нет, как нет больше знаменитого комбината по сгущению молока, нет мясо-молочных ферм в беликовско-кобелякской округе, из пяти тамошних школ осталась только одна, ибо ничего этого уже сегодня не нужно; вспомнить нашу некую обоюдную чистоту, наше неопасенье, предсказанное каждому из нас Боратынским, вспомнить себя молодых, неразумных и верящих в чудо. А если разобраться по сути, что ждало нас, кроме бездны, отчаяния, ненужности и старения, — даже несмотря на кажущуюся молодость нашу? Да, все как-то очень быстро прошло, и мы с Галюней во мгновение ока встретили нежданную взрослость, в которой неотвратимо маячили новые вызовы, отметающие неважным сором наши иллюзии.

Я отнюдь не утверждаю, что наше поколение было несчастнее и обделеннее, чем поколение наших родителей. Тут просто не с чем и сравнивать. Вот уж совсем не понять, как они выжили — и выжили не просто на Воляни, в Доминополе и в других местах, опустошенных до последнего человека партизанами из Украинской повстанческой армии в 1940-х годах минувшего века, — нет, как они вообще жили и выжили — от первого своего дня в этом мире в 1920-х годах — через коллективизацию, голод и индустриализацию здесь и польские чистки там, до 1939 года, во Второй Речи Посполитой, восстановленной из исторического небытия Юзефом Пилсудским и затем снова разорванной в лохмотья закадычными корефанами Адиком Шикельгрубером и Сосо Джугашвили, в раскаленном, смертоносном жерле войны, в послевоенной разрухе, в бесконечной, никогда не прекращающейся кропотливой и часто бессмысленной работе за сущие крохи, за кусок серого хлеба и хвост ржавой селедки «по благу»...

Нет, мы были, можно сказать, почти счастливы. Молитвы наших родителей о том, что готовы они все претерпеть, — все и больше того, лишь бы не было только войны, где бы они ни возносили их к Господу, были услышаны Им. И дарован был всем нам некий призрачный покой, названный позже «застоем». И ныне кое-кто проговаривается: ладно, не надо нам коммунизма, не надо и капитализма с «безвизом» и членством в гребаном НАТО, но газводу из автомата за копейку — верните!.. А можно — и пломбира еще попросить?..

Наступающие за мягкой осенью дни ноября-декабря 1977 года окукливались, деревенели, становились жесткими, гремящими, словно листы кровельной жести, приобретали черно-белый оттенок, и дело было даже не в том, что на бульварах и в парках опадала листва, и небеса, прежде высокие и прозрачные, опускались практически на крыши домов, насыщенные тяжелой влагой непрекращающегося обложного дождя — мы, мы сами с Галюней, становились другими, чужими и незнакомыми. И так быстро, словно неслись на санях с вершины ледовой горы — только посвист ветра резал барабанные перепонки.

Назвать ли это любовью?..

Даже не знаю. Ведь ничего не было, кроме неумной моей болтовни в поезде от Полтавы до Киева, затем нескольких долгих прогулок по киевским улицам, где я снова и снова разливал свои соловьиные трели невесте о чем. Минувшим летом Галюне исполнилось 18, мне же было уже целых 20, но женщины по-другому устроены не только физиологически, но, главным образом, психологически. Да, может быть, что-то не поддается их разумению, чего-то не понимают они, в отличие от нас, но это неважно совсем, — они заточены на другое, ведомы могучим инстинктом продолжения рода. Отсюда — их преходящая яркая красота, глубинное знание, врожденная мудрость, некая метафизическая и даже физическая слепота, нечувствительность к страшным ударам судьбы и даже к потерям детей, отсюда их завидное долгожительство — сама природа ради продолжения рода создала их таковыми, укрепила, надежно встроила в этот мир, вбила в плодородную землю если и не по пояс, то точно уж по колени. «Юноше, обдумывающему житье», нужны годы и годы для того, чтобы понять себя самого, понять цель и смысл чуда своего появления в этом мире, свою сокровенную и единственную в своем роде роль на трещащих, качающихся подмостках мирового вертепа, созданного неизвестно кем и неизвестно для каких целей, — это в идеале, само собой разумеется, — а ведь есть еще нескончаемые войны, конфликты, завоевания, эпидемии, локальные концы света, и все это требует топлива — человеческого материала, пушечного мяса — солдат и подвижников, окрыленных запредельной целью-мечтой или жестко регламентированным суровым приказом. Все это требует мальчишек, мужчин. Потому их и рождается больше — природа восполняет расходные материалы.

Может быть, в этом и таился наш с Галюней подспудный конфликт интересов — я видел в ней практически идеальную женскую красоту, нарушить и осквернить которую даже в мыслях я почитал кощунственным и греховным, но при этом — я оставался мужчиной со всеми присущими нашему роду особенностями и желаниями. Да, я Галюню любил, можно сказать, — но не мог совладать, что естественно, со своей плотью,

и потому с сокрушениями душевными и последующим раскаянием время от времени я впадал в бред с каждой девушкой, отзывавшейся на мои голодные зовы, — и это все не отменяло моего восторга и восхищения ею, но обостряло любовь мою послевкусием горькой вины. Но я не мог с собой справиться — это во-первых, а во-вторых, мне хотелось предстать перед Галюней таким интеллектуалом-неоплатоником, поборником «чистого искусства», в моем случае — эксклюзивного исторического знания, таким рыцарем Прекрасной дамы, которой, разумеется, была сама Галюня, и рыцарю свойственны были одни только подвиги во имя ее и грустные песнопения под задумчивый, медитативный перезвон струн лиры о недостижимой ее красоте. Тронуть это светлое чудо похотливой лапой?.. Та хай меня ранят! — как говаривал покойный наш одноклассник из Кобеляков двоечник, алконавт и курилка Витька Лебедченко-Чана.

Галюня со своими баклажками с козырной беликовской сгущенкой пребывала в хрустальном лесу строгих пифагоровских чисел и отлитых из серебра формул и математических аксиом, я же, выныривая из барханов архивной пыли и обретая на очередной прогулке по Киеву Галюню, начинал свою бесконечную повесть весьма «временных лет», где мелькали имена польских Пястов и литовских Гедиминовичей, бомбил ее всеми этими своими Сигизмундами Ягеллонами и Ягеллончиками вперемежку с Вазами, пытался рассказать ей, черноволосой и волоокой красавице из сердца полтавских степей, что-то об особенностях первого Литовского статута 1529 года, — Господи Боже мой!.. Но разве того ожидала от меня неведомая до поры девичья душа?..

Но все это понял я позже гораздо, когда от Галюни Белик не осталось ничего, кроме воспоминания о ее исчезающей красоте и тающего послевкусия последней ложки беликовской сгущенки.

А ведь время от времени Галюня останавливала меня странными такими вопросами:

- Лешек, а хочешь, я расскажу тебе о бинарном отношении равенства?
- Шо-шо?..

Я, естественно, не хотел. Хрен ли мне эти бинарные отношения? То ли дело Сигизмунд I Старый и его знаменитая женушка королева Бона Сфорца!..

— Галюня, давай расскажу тебе лучше, как она травила невесток своих, жен сыночка своего Сигизмунда-Августа?.. Вот где захватывающие сюжеты!..

Но в этом-то и крылись деликатные намеки Галюни на неуместность моих инвектив рядом с ней и при ней. Но все это уразумелось мной после, когда Галюни не стало, когда я ее потерял. Хотя, как это «потерял»? Я ведь вовсе и не обладал ею. Девушка, женщина — это ведь общественное достояние. Мы же не саудиты какие-нибудь. Мне просто что-то казалось, мерещилось на панцирной койке на Борщаговке. Уродливое мое чувство, которое я почитал за незамутненную ничем плотским и низменным любовью, диктовало мне какие-то дикие вещи, применяемые к Галюне как объекту усовершенствования, — так мне втемяшилось в голову, что столь прекрасной и совершенной внешности, по всей вероятности (так думал я), недостает еще внутренней рафинированности и утонченности, — ну в самом деле, Господь или щедрая природа Украины даровали ей эту несравненную красоту, но чему она могла научиться там, в убогих Беликах, где отец ее был заурядным инженеришкой по сгущению молока на комбинате, мать — оператором механизированной дойки на ферме, а по усадебному двору бродили с хрюканьем свиньи, кудахтали куры, гоготали гуси, а пес Шарко хлебал вчерашний борщ из ржавой немецкой каски с орлом Третьего рейха, — что она знала, да и что могла, в сущности, знать, кроме своей математики-алгебры-геометрии, да и то по случайному расположению звезд, — и я, горделивый кобелякский хлопец, со всей серьезностью считал, что могу что-то исправить в ней, как-то духовно-душевно ее просветить — ну хотя бы рассказывая ей о первом короле Польши Мешко Пясте или же о Радзивилловом роде и племени... Наивному, мне казалось тогда, что для настоящего девичьего развития все-таки недостаточно читать ежемесячную поэтическую страничку в «Комсомольце Полтавщины», которую вел Михайло Шевченко, уважаемый неплохой областной журналист, но знание особенностей Литовского статута или чего-то подобного — вот что могло оторвать мою прекраснوليкую Галюню от хозяйственных хуторских забот в деле откармливания хряка к Рождеству, консервирования щедрых плодов земных лета 1975 года в трехлитровые банки и местечковых обсуждений соседских обновок, надыбанных в набегах на полтавские крамницы, мало чем отличающиеся от беликовского сельпо... Ведь что таилось до срока в ней за этой вот совершенностью лика, в этих темных бездонных глазах, в замедленных жестах, в копне жгучих половецких волос, — о, милая моя, дорогая, не открывай своего дивного рта, созданного для одних только пьянящих поцелуев и наслаждения, не выпускай в белый свет заурядных колхозных суждений-оценок, не дай «г» фрикативному и проклятому суржику отравить благолепие храма твоего тела и мира, что окружает его розовым флером!..

«Я люблю даже не тебя, а мое, подаренное мне через тебя, бытие» — так сказал Кафка.

Да, вот здесь и таилась разгадка, ответ на вопрос: чем же все это было — с Галюней — любовью ли? Нет, — ответил я себе самому, возвращаясь домой по Почайнинской, — но крошечным моим эгоизмом: не Галюню любил я тогда, осенью и зимой 1977 года, когда моя Лика еще играла в куклы здесь, на Подоле, но себя самого, свое бытие, по слову писателя, свою новую жизнь в новом сложении, — это было подобно тому, как в живительном растворе вокруг какого-то незначительного бугорка нарастают и причудливо множатся в ответвлениях кристаллы, превращающиеся в кораллы, наполняющиеся изнутри цветом и невиданными оттенками, — мое я — вот что было здесь определяющим, главным и основным, — Галюня, ее красота, запах ее половецких волос, свежесть ее дивной кожи, тепло ее рук — все это шло в метафизическую топку локомотива, разгоняющего мою жизнь, мое будущее, до срока неведомое...

«Я люблю даже не тебя...»

Не тебя — но себя...

И позже гораздо, через десятилетия, примерно о том же прочел я в стихотворных строках Фридриха Гёльдерлина, пророчески предвосхитившего мой неуместный, дурацкий, тщательно пестуемый неоплатонизм по отношению Галюне:

*Свободный от страданий чистый дух
Материей гнушался, ни в чем не отдавая ей отчета,
Нет мира для него ведь, кроме духа,
Нет больше ничего.*

*Мы чувствуем границы собственного существа,
И сдерживаемая сила восстает нетерпеливо
Против цепей своих, и дух летит назад, домой,
Ведь никаким сопротивлением не одолеть в нас
Голос тот божественный.*

Мы чувствуем себя, не чувствуя других.

Может быть, Кафка отсюда, из последней строки, и почерпнул это свое «подаренное мне через тебя, бытие», — кто знает? Или это глубинное сокровенное чувство стало в столетиях неким общим местом, тропом, ныне крепко забытым, глубоко погребенным в подсознании, в метельшении дней, в сумятице разнообразных мелких забот, когда само понятие любви обескровилось до пустоты и свелось разве что к душевному расположению, или того паче, к сексуальному действию.

И это «подаренное тобой мое бытие», как стало понятно мне уже значительно позже, спустя целую жизнь, стало уделом великих женских имен, от которых не дошло до наших времен совсем ничего, кроме стихотворных строк, или, в лучшем случае, ренессансных портретов — Лаура Петрарки, маркиза Витториа Колонна Микеланджело, Беатриче Портинари Данте, — не осталось вроде бы ничего от этих имен, кроме затаившего вдалеке звучания, но по сути — осталось все и даже больше того, немислимое по красоте, по совершенству, по значению в контексте мировой культуры — ангелы, музы, оставившие опосредствованный, великий свой след в бессмертных строках тех мужчин, которые их — для нас — любили. Как тут удержаться и не повторить в тысячный раз строк 86 сонета Микеланджело?

*Ужели, донна, впрямь (хоть утверждает
То долгий опыт) оживленный лик,
Который в косном мраморе возник,
Прах своего творца переживает?
Так! Следствию причина уступает,
Удел искусства более велик,
Чем естества! В ваяньи мир постиг,
Что смерть, что время здесь не побеждает.
Вот почему могу бессмертье дать
Я нам обоим в краске или в камне,
Запечатлев твой облик и себя;
Спустя столетья люди будут знать,
Как ты прекрасна, и как жизнь тяжка мне,
И как я мудр, что полюбил тебя.*

Но это сегодня, на сыром и сером Подоле, на Почайнинской, в 2020 году, задним умом и задним числом я все это так понимаю, а тогда же все с Галюней складывалось по-другому.

Галюня, мой ангел, тихо бесилась, когда самонадеянно и высокомерно я начинал высмеивать крошечную убогость быта, окружавшую ее в Беликах:

— Вы там кроме «Четырех танкистов и собаки» ничего не видали... А, ну еще «Операцию «Б!» с Шуриком или как там его...

И все в таком духе, — будто бы в нашенских Кобеляках слагалось что-то иначе и в ДК имени Клим Ворошилова показывали фильмы Антониони... Но так уж глупо устроен был я, — и если даже до приезда в Киев мне казалось, что я постиг последние истины, то уж в Киеве, в библиотеках, я совсем с катушек слетел... Так и носился по улицам со своими Пястами и с Ягеллонами, часами простаивал у остатков фундамента Десятинной церкви, медитируя и представляя невесть что из времен равноапостольного князя Владимира, или же на Андреевском умопомрачительном косогоре пытался воскресить, как тут с крестом стоял апостол Андрей, глядя на величественную панораму Борисфена-Славути-Днепра, прозревая в веках драматические будущие судьбы этого края, а уж если попадалась мне Галюня моя-не-моя, то пощадки ей не было никакой... Самонадеянность и всезнатьство молодости... При этом — кем был я для Галюни? Отцом, братом или авторитетным старшим товарищем? Да никем! Пристал случайно к красивой девчонке, присосался к банке с козырной сгущенкой, откусил от пирога с вишнями — и вроде получил какое-то право вещать ей и улучшать внутренний ее мир, каким он мне мнился, рассказами об истории Речи Посполитой.

Ну а что еще, если разобратся, я мог дать Галюне? Денег у меня не было никаких, впереди у меня, как, впрочем, и у нее, были годы и годы учебы, затем — совершенно туманное будущее, — 1982 год был пограничным во всем, а до того я мог невозбранно пользоваться своим местом в общаге на Борщаговке, — а после 1982 — путь лежал в сельскую глухомань, в сравнении с которой наши Кобеляки и Белики даже покажутся венцом творения. Что мог дать я Галюне, кроме своей болтовни, исторических анекдотов в духе Валишевского или всемирной скорби по тому, что история — хотя бы нашей земли и страны — не сложилась так, как она заслуживала того.

Но Галюне все это было фиолетово.

Ангел из сердца степей, незамутненный душой и телом, цветок редкий и удивительный, на столичных улицах ожестел стеблем-листвой, лепестки, прежде нежные и бархатистые, огрубели, подсохли на неоновом солнце Крещатика, — больше уж не сидела она в хуторянской светлице и не глядела мечтательно в затягивающуюся густой тенью синеву вечерней степи и не ожидала, когда оттуда, из надвигающейся на Белики ночи, явится блистательный летучий гусар (ну, это я, разумеется) в среброкованой кирасе, с шелестом заплочных жестяных крыльев, на сером коне, прискакавший на ее молчаливый девичий зов из Кобеляков, — детство-отрочество кончилось в одночасье, как только вышли мы с нею из раздолбанного пригородного вагона на киевскую брусчатку, и я не успел ответить на ее вопрос о том, что такое любовь. Умозрительный гусар без коняшки ни на что не был годен, кроме поедания сгущенки в количествах и пирогов с зеленым луком и яйцами без счету, но отнюдь отчего-то не дерзал покуситься на изнывающую в томлении девичью плоть. Довольно скоро Галюня со всеми этими делами разобралась, да и понятно: такой товар, каковым обладала она, не залеживался и мгновения на столичной ярмарке тщеславия, но весьма был востребован. Потому я до срока, положенного мне природой, не мог и понять ничего о той редкостной милости, которой Галюня, на самом деле, одарила меня, кобелякского голодранца Лешака Маршалка, запутавшегося в разнонаправленных информационных потоках древнерусских летописей, польских хроник, сеймовых пересудов и серой газетной брехни той советской поры, на которую и пришлось наша молодость, и пропустившего мимо себя главное, самое ценное и основное — ее. Общение с ней, драгоценное, как появилось это позже гораздо, каждой каплей, подобно столетнему шотландскому молту, я расплескал в досужем, неважном, придуманном, диком, — да не воспитывать-просвещать следовало мне Галюню мою-не-мою, а благодарить Бога и ее за каждое мгновение сладкого сна, которым она с царственного плеча одаривала меня до известной поры. Скоро она осмотрелась, да и киевляне оценили ее, причем первыми оценили ее даже не парни с Крещатика в американской джинсе, не зрелые и состоявшиеся подпольные цеховики-бизнесмены, любители юной и свежей девичьей плоти, которые, по причине свойственной нашему брату медлительности, все размышляли, каким образом подкатить к ней и чем заинтересовать, а именно женщины особого свойства: Галюня со смехом поделилась со мной, что ей две дамочки настойчиво предложили тусоваться на выбор либо под гостиницей «Днипро» на площади Ленинского комсомола, либо над Бессарабой в «Киевской Руси», или же под гостиницей «Лыбидь», что на площади Победы, где «все схвачено и согласовано» с какими-то непонятными личностями, и зарабатывать невиданные никогда доллары, фунты стерлингов и западногерманские марки, а то даже японские иены за услуги по оказанию интернациональной сестринской помощи изнывающим под гнетом капитала залетным губошлепистым иностранцам, приехавшим поглазеть на невиданную поступь социализма. Галюня понимала, о чем шел разговор, и когда она для формальной слабой отмазки указала на меня как на своего парня, засланные «ответственными товарищами» интуитивские телки просто подняли ее на смех и спросили: из какого же леса она прибыла в Киев и,

собственно, зачем же? Ходить со мной по Борщаговке и, развесив уши, слушать о том, как козаки Богдана Хмельницкого разрушили Речь Посполитую? Ну, не дурочка?..

Глава 16. УТЕРЯННЫЙ «РАЙ»

Я же тем временем мало что замечал, — оборотившись назад, я превратился в безмозглый соляной столп, подобно жене ветхозаветного Лота, которая, в простительном женском любопытстве и в силу прежнего душевного расположения, оглянулась на погибающий в огне город Содом, который они навсегда оставляли по непреложному Божьему слову: как там подруги мои и товарки переносят такой катаклизм? И разве осудишь ее? Ведь с ними годами она трепалась на углах улиц и переулков, ходила в гости, обсуждала соседей, цены на рынке, достоинства и недостатки мужей, и вот теперь пришлось ей плестись за Лотом в веренице дочерей и ослос, навьюченных скарбом и утварью, — а задушевные подружки-соседки так и остались в Содоме... Как тут не оглянуться прощально?

И я, подобно этой неразумной жене, оказался, «неблагонадежным» — по крайней мере для Галюни моей-не-моей. (Как сказано уже в Новом завете в Евангелии от Луки: «возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия»... Сказано — обо мне). Но что поделать — а чем еще мог я утешиться или же оправдаться? — я исполнял предписанное мне по призванию, или по долгу, или даже по любви — будто бы в перевернутый бинокль я пытался что-то там различить в микроскопическом метельшении призрачных теней минувших веков, расслышать шепоты, крики, неистовства исчезнувших в бесславии и нечестии поколений единого по крови народа, разделенного только лишь верой, — даже не верой в догматическом и каноническом смыслах, а *образом* веры. И эти различные *образы* — католичество и православие, со втершейся между ними злокозненной и профанной унией, оказались гибельными для великого и могучего государства.

Но что тут, собственно, остается от самой веры, от той великой *Sola fide* апостола Павла: «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28), — и в этой губительной борьбе «дел закона», в которые окостенела прежняя *вера*, превратившаяся всего лишь в *образы* католичества и православия? Ничего. Может быть, в этом и крылась та глубинная метафизическая причина, результатом и искуплением которой стало разрушение великой и славной Речи Посполитой? И уже не за торжество *веры* множество людей принимали мученичество и смерть, как когда-то во времена императорского Древнего Рима, но за *образ*, то есть за, собственно, одну только *видимость* — сколько пальцев соединить в щепоть, дабы перекреститься, справа налево или слева направо налагать на себя крестное знамение, добавлять или не добавлять в символе веры злосчастное «филиокве»; а рядом, в Московской Руси, староверы сжигали в срубах себя, только бы не предать заветное двоеперстие, не ходить в крестном ходу *противосолонь*, а исключительно *посолонь* (против солнца и по солнцу), а тем более не говорить еретически «во веки веков», но исключительно «во веки веком», как их деды и прадеды...

Что же остается здесь от веры? Разве не искаженный *образ* ее, затмевающий сокровенную суть?.. Буква превозмогала здесь дух, — и, может быть, только так и слагалась земная история государств тогдашнего мира.

Различные же в *образах* исповедования неминуемо было чревато религиозной войной, в которую и погружалась, как в дымную огнедышащую трясиину, моя Речь Посполитая.

У Гоголя в повести «Вий» один из козаков, сведав о запредельном кошмаре, произошедшем в ту ночь, когда Хома Брут пытался читать Псалтирь над Панночкой, просто и смиренно вербализировал то, что произошло с незадачливым бурсаком: «Значит, такая судьба у него...»

Да, то же самое можно сказать и о закате счастливой судьбы «державы без вогнищ»: *такая судьба была у Речи Посполитой*. Такая судьба...

Вокруг меня шумел, веселился, пел и страдал наш замечательный и прекрасный Киев, рядом со мной, может быть, уже в последний раз, шла по киевским мостовым и бульварам самая прекрасная девушка на земле, Галюня Белик из Беликов, я о чем-то самозабвенно вещал, — кажется, о козацких мятежах против горделивых заднепровских панов, случившихся еще до Хмельниччины после смерти гетмана Сагайдачного — несколько битв прогремели совсем рядом с нашим временным земным обиталищем — под Кременчугом, на Крюковском озере на правом берегу Днепра, где я однажды купался со Сероштаном и Шоней; под Лубнами, где еще не затянулись землей окопы войскового табора Павла Наливайка и где еще не умерли люди, которые помнили ту осаду, разгром и резню, устроенную гднерами польного гетмана Станислава Жолкевского в сдавшемся таборе... В Миргороде, в Голтве, в Чи-

гирине... Кажется, на нашей Полтавщине совсем не было клочка земли, не обгаренно-го кровью... Галюня вроде бы слушала вполуха меня. Но понимала ли? Впрочем, не к чему задаваться такими вопросами.

Мы шли уже по Крещатику от Бессарабки, и вот совсем рядом с метро, пройдя парадную, отстроенную после войны улицу до середины, мы прежде услышали звуки гитары, а затем и увидели густую толпу слушателей: прямо на бордюре, практически на асфальте, сидел поэт и философ Максим Добровольский с гитарой и один в один исполнял «Spanish Caravan» из третьего альбома «Waiting for the Sun» группы «The Doors», — со всеми испанскими златострунными прибабасами, — и пел эту пронзительную песню на... прекрасном украинском языке, что было столь ярко и неожиданно, что я на какое-то время выпал из своего перевернутого бинокля, отвлекся от той крошечной тьмы, которая надвигалась на мою Речь Посполитую к 1648 году, забыв на мгновение даже о Галюне.

С завсегдатаем андеграундной тусовки на Крещатике Максимом Добровольским, прозванным по жизни Мака симом, перелагателем популярных западных тогдашних хитов на украинскую мову, вскоре я познакомился и сошелся в приятельстве. А тогда, в первый раз, под перезвон фламенко, искусно воспроизводимого Максимом на златострунной гитаре, когда Галюня изумленно стиснула мою руку и замедлила шаг возле этой хищной толпы, я словно очнулся — словно распахнулась душа, и молодая кровь прихлынула к сердцу, — я вспомнил о Сероштане и пожалел, что его нет сейчас рядом, чтобы все это услышать и запомнить. И такой никчемностью показались мне эти мои злосчастные архивные бдения, эти страдания из-за того, что в истории нет сослагательного наклонения, — разве не единожды дарована человеку в этом мире молодость, и эта прекрасная черноволосая статная дивчина рядом, и этот дивный город с его бульварами, проспектами, древними храмами, с... опять же! — ну куда мне деться от этого! — его 1500-летней историей, с бескрайним синим плесом Днепра, — и разве не должен я жить — жить и любить — пока не загустела кровь в жилах, пока не присыпано все живое и молодое во мне серой пылью равнодушия и не подернулось тусклой пленкой усталости?..

Жить, — но как с этим жить было мне?

Ведь и Крещатик тех лет, мыслимый недвижно-прекрасным, давно провалился в небытие, как и все прочее в этом мире, рассеялся по белому свету люди, стаптывавшие здесь годами «платформы» негритянских «шувов», сабо, сандалики, кеды, кроссовки своей странной подсоветской юности, поглотились метафизическим пространством те дивные музыкальные переложения Максима, которым мы с Галюней стали случайными свидетелями, а «Шисгара» — «Venus» («She's got it») голландской группы «Shocking Blue» с шутовым текстом Максима на мове еще с архаичного 1971 года считалась вполне «народной», сочиненной сельскими хлопцами на вечернице под Конотопом, и распевалась со смехом по всей Украине едва ли не хором, и только те, кто остался, помнят, кто автор этой пародии; исчезли без видимого следа, сохранившись разве что в пожелтевших машинописных копиях у такого «оддскульного» типа, как я, и гениальные строки стихов Игоря Винова, давным-давно променявшего лиру поэта на тогу эзотерика-мудреца.

Где Люська Ушакова, Юрко Крошка, нарезавший круги по Крещатику в поисках денег на «бормотуху», где Лена Шварцзоид с Сережей, Кассандра — Лидка Винграновская, Летающий Вареник, Юрко-Письменник, Костюм Пиджакыч — Валентино, Милка Скороход-Вржесневская, Боб Чепурной, Коля Враг народа и Наташа-Батарейка, Кристина Гайдамака, Дима Битломан и добрая сотня-другая тех, чьих имена и прозвища я просто забыл; где тусовка с Львовской площади — Красивозадая Наташа, Петя Гитлер, Вася Хендрикс, Харкающая Жаба, Бабушка-Кондор, и снова — десятки исчезнувших и забытых, из которых на слуху остался один только Подя, ныне писатель-авангардист Лесь Подеревянский, переживший и коммунизм, и 30-летнюю уже президентскую независимость...

Галюне захотелось остаться здесь, стать своей в этой разноцветной толпе первых киевских хищарей, нонконформистов, подпольных поэтов, непризнанных музыкантов, пить портвейн из горла, слушать бесконечные разговоры Бог знает о чем, анекдоты про Брежнева, эзотерическую муть — жалкое подобие платоновских диалогов, приколы, иностранные песни, слушать психоделическую музыку из переносных магнитофонов «Весна-3», танцевать босиком на теплом асфальте под темным киевским небом, подсвеченным желтым светом фонарей, курить свою первую анашу, или «план», — и ей хотелось, наверно, все же любви, или того, что в те времена подразумевалось под этим: скамейки в тенистых парках, жаркий шепот слов непонятно о чем, от которых тает душа...

Я же помимо своей воли темнел лицом, и угрюмость моя отчего-то только усиливалась прямо пропорционально разгорающемуся веселью и дураковалению

— ведь мало того, что я чувствовал себя совершенно чужим на этом лихорадочном и бесшабашном «празднике жизни», но я еще не по возрасту своему откуда-то знал, что все это пройдет, все рассеется паром, и после того, как праздник закончится, закончится следом и молодость, а может, даже и жизнь у кого-то оборвется в самом начале — кто знает? — и пришедшие следом годы и десятилетия продиктуют новые железные правила: семьи, жены, мужья, стабильная работа, вступление в сплоченные ряды партии, никому не нужная карьера в никому не нужном НИИ, походы на демонстрации в поддержку решений очередных съездов, крики «ура», аплодисменты, переходящие в овации, тайные мечтания о заграничной командировке в Болгарию, куда не выпускает бдительный украинский КГБ, из-за того что твой отец подростком был отправлен на работы в Германию во время войны и тем самым перечеркнул не только свою жизнь, но заодно и твою... За всем этим шумом и гамом я видел одно только неизбежное одиночество, печальное и неотвратимое.

Галюню сразу же приняли в компанию — Люська Ушакова обняла ее, поцеловала, надела на голову венок из каких-то пожухлых цветов:

— Отныне и навсегда!.. — сказала торжественно.

Боже, да что ты, Люська, знаешь о том, что есть «навсегда»?

Максим Добровольский протянул мне початую «бомбу» «Биомицина» за 1 р.72 коп.:

— Угощайся, дружище!..

Как тут к слову не вспомнить его слова в нежнейшей песне Джима Моррисона «The crystal ship»: «...Казав же я що ЛСД такого понту видає — не гірше за «Біле Міцне» і в ноги й в голову шибе...» Не передать мне словом той дивной мелодии, которая вкупе с текстом Максима становилась чем-то вроде химической кислоты, прожигающей твою душу и разум не только за пределами эстетическим совершенством музыки, но и химерным украинским абсурдом.

Остаться здесь, все прошлое, призрачное и гибельное просто забыть и пребывать в этой нескончаемой киевской осени, на Крещатике, с этими замечательными ребятами, с этой музыкой, пить азербайджанский портвейн и ни о чем не печалиться и не думать... «Жить быстро и умереть молодым» — таков, кажется, был слоган тогда у нас, — до «секса, наркотиков и рок-н-ролла» мы, понятное дело, весьма недотягивали в связи с отсутствием наркотических препаратов, если не считать вполне безобидной «травы» — нашего тогдашнего веселящего «газа». Но и при отсутствии тяжелых наркотиков «бормотуха» с «чернилами» косили юные жизни, выжигали химической дрянью как мозги, так и внутренности. До сорока лет, кажется мне, не дожила и половина народа как с Крещатика, так и со Львовской площади. А кто дожил — тот стал другим.

О, мгновение той теплой киевской осени 1977 года, остановись же! Время жизни, замедли свою мерную поступь в то светлое будущее, недостижимое, как хрущевский коммунизм, где ты вроде бы встретишь еще и любовь, и друзей, где прочтешь ты недоступные книги или книги, отложенные сегодня на завтра, к той поре, наконец-то, водворится покой как в окружающей тебя жизни, так и в душе, канут куда-то чудесным образом проблемы и житейская маета, неустроенность, и вот тогда... тогда-то и начнется настоящая жизнь, а то, что ныне теперь, это так — преддверие жизни, приходящая настоящего, все случайно вполне и завтра забудется, можно без сожаления потерять, можно без особенной радости обрести и найти, но вовсе не дорожить — ведь все будет завтра.

Все будет завтра...

И больше не с кем было мне поделиться тем маревом, багровым мраком, наплывающим на меня из прошлого Южной Руси-Украины — снова перед моим воспаленным и больным внутренним взором разворачивалась и разгоралась драматическая или все же трагическая картина того, что позже получит наименование истории, ну а пока — до поры — не было таковым: где-то под Киевом собирались козаки, и вверх по Днепру, преодолев бесчисленные гряды и заборы черных скальных порогов, поднимались легкие суденышки-чайки, набитые неистовыми сорвиголовами из Запорожского коша; польные варшавские гетманы снова оглашали посполитое рушение всех охочих людей государства отсекальщупальца гидре из Запорожья, снова и снова сотрясаемого судорогами религиозных распрей и нестроений, усугубляемых невнятицей войскового устройства Речи Посполитой...

Я выпил вина, предложенного Максимом, послушал еще пару песен его, уже из репертуара «The Beatles» и тронул за локоть Галюню: ну, что, пойдём дальше?... Багровая опара былого набухла во мне, и нужен был выход какой-то — написать ли статью или книгу, сложить песню о том под гитарные переборы или — самое доступное — просто о том рассказать внимательному слушателю-собеседнику, другу, любимой... Может быть, потому и нужна была мне Галюня.

Но она сказала:

— Лешек, я остаюсь здесь...

Вот и весь разговор... Собственно, а на что я надеялся? Чего я хотел от Галюни, кроме того, чтобы она снова смиренно слушала о том, что было предысторией сокрушительной войны Богдана Хмельницкого, что произошло с русским и польским народами после того, как гетман Сагайдачный, гроза турок, ляхов и московитов, умер от боевых ран и отправился на суд Божий держать ответ за Хотин, за Москву, за Синоп, Кафу, Очаков и Трапезунд и еще за десятки разоренных им крепостей, городов и местечек, за груды трупов разного рода и племени, разной веры, даже и православных, как в Московской кампании 1618 года, которые оставались после козацких военных походов во все стороны света, им возглавляемых, в достижении эфемерных и забытых за давностью целей; как тлел и постепенно разгорался с разных концов этот громадный пожар, в котором к середине 17-го столетия практически погибла Речь Посполитая — Хмельниччина с неисчислимыми жертвами — с обеих сторон, с невероятными жестокостями — с обеих сторон, с неистовой резней супротивных — с обеих сторон; потеря всей Южной Руси, — потеря, которая ничему так и не научила варшавских коронных панов, — и потеря одной трети державы никого даже особенно не потрясла, кроме землевладельцев: ладно, это вынужденное тактическое отступление, вот немного передохнем, залечим раны и отберем назад у Москвы польскую Украину — после ошеломления, оглушения событиями 1648-54 годов, когда восстал практически весь русский народ, смертельно уставший от всяческих притеснений. Но мне не пристало пересказывать здесь общеизвестные истины о земельных магнатах, практически поработивших Южную Русь-Украину по обоим берегам Днепра. Уместно для краткости просто процитировать всезнающую Википедию, безэмоциональную и сухую:

«Усиление политического влияния «шляхетской олигархии» и феодальная эксплуатация со стороны польских магнатов особенно проявились на территории Юго-Западной Руси. Путём насильственных захватов земель были созданы огромные латифундии таких магнатов, как Конецпольские, Потоцкие, Калиновские, Замойские и другие. Так, Станиславу Конецпольскому на одной Брацлавщине принадлежало 170 городов и местечек, 740 сёл. Он же владел обширными землями на левобережье Днепра. Одновременно росло и крупное землевладение русского дворянства, которое к этому времени принимает католическое вероисповедание и ополячивается. К их числу принадлежали Вишневецкие, Кисели, Острожские и др. Князьям Вишневецким, предки и родственники которых (Дмитро Вишневецкий, Глинские, Ружинские, Дашкевичи) были среди основателей и первых атаманов Войска Запорожского Низового, например, принадлежала почти вся Полтавщина с 40 тысячами крестьянских и городских дворов, Агаму Киселю — огромные поместья на Правобережье...» и все в таком духе.

И разве мыслимо исчислить или хотя бы просто наименовать все те беды, несчастья, обиды и притеснения, которые выпали на долю тех подвластных магнатам людей, посполитых крестьян, рядовых козаков, ремесленников? Ведь это было целой вселенной, немой Атлантидой, где гасли неслышимые крики, стоны, проклятия, где кровь лилась как вода, где царили только несправедливость, беззаконие и неправда, — и Атлантида медленно и неотвратно погружалась в кровавый хаос невиданного и неслыханного насилия... И долго ли могло продолжаться терпение подъяремного люда? Даже, казалось бы, в верхоглядной еврейской хронике 17-го столетия «Пучина бездонная» Натана Ганновера, изданной в Венеции в 1653 году, засвидетельствованы эти вопиющие факты. Хотя, казалось бы, что за дело было еврейскому бытописателю до страданий и мучений, выпавших на долю презренных украинских «гоев». Но если даже такой посторонний сквозь зубы о том говорит, то разве можно представить себе, что происходило на деле?

«Я тот муж, глаза которого узрели жезл гнева, каким разил Господь народ израильский своего первородного сына, как Он низверг с небес страну Своего великолепия, вожделенную Польшу, прелестнейшее украшение вселенной, поглотил и не сжалился над пристанищем Якова, своим заповедным убежищем, и не вспомнил про землю, подножье ног Своих, в день гнева и возмездия. <...> Так было до воцарения короля Сигизмунда. Вышеупомянутый король стал возвышать магнатов и панов папской веры и унижать магнатов и панов греческой веры, так что почти все православные магнаты и паны изменили своей вере и перешли в папскую, а православный народ стал все больше нищать, сделался презираемым и низким и обратился в крепостных и слуг поляков и даже, особо скажем, у евреев. Только наиболее отважных среди них взял себе король в войско — всего около 30000 воинов, по призванию козаков, и они были свободны от платы погаты королю и панам и были обязаны только жить на границе Руси вблизи страны, где живут татары, чтобы охранять государство от них, бывших от века камнем преткновения для Польши. И всегда была великая ненависть между татарами и православными. Татары воевали с православными, а православные

с татарами. Вот почему казаки были освобождены от погостей и пользовались вольностями наравне со шляхтой, но остальная беднота православного народа была порабощена магнатами и панами, они омрачали их жизнь тяжкими работами и всякими трудами дома и в поле. И наложили на них паны большие погаты, а некоторые паны подвергали их тяжким и горьким мучениям, побуждая их перейти в папскую веру. И так они были унижены, что почти все народы и даже тот народ, что стоит ниже всех, владычествовали над ними...»

Под тем народом, который «стоит ниже всех», хронист, естественно, подразумевает евреев. Хотя это весьма странно: если православные оказывались в подчинении и в зависимости от евреев, то логично было бы отметить, что именно они и «стояли ниже всех» в государственной и социальной иерархии Речи Посполитой. Со времен 16-го столетия в Польше все больше и больше распространялась практика отдачи владетельными панами городов, местечек и латифундий в аренду предприимчивым детям Израиля. Стали уже достоянием прошлого отважные польские и литовские рыцари, расширявшие ценой собственной крови границы как Королевства Польского, так и Великого княжества Литовского, их имена, их деяния остались в летописях, в легендах и отчасти в высокой поэзии Яна Кохановского. Их внукам и правнукам, нынешним ясновельможным сятельным господам, приятнее было заниматься охотами, балами, гостеванием друг у друга, заседаниями в поветовых сеймах и сеймиках, да и войной, если на то уж пошло, куда они отправлялись как на праздник — с великолепной утварью, драгоценным оружием, с шатрами из золотканной парчи, с бочонками тонких вин и душистых наливки и водки... Хроники войны Богдана Хмельницкого просто пестрят описанием удивительных драгоценных трофеев, захваченных козаками при разгроме польских таборов. Тут и золотые кубки, золотые тарелки, серебряные подносы... Ну, о целых гардеробах кафтанов, драгоценных кунтушей, кармазинов, собольих шуб вообще не приходится говорить. Уже даже по этим трофеям можно понять, как богата, сильна и обильна была та Речь Посполитая, вскоре бесславно канувшая в небытие. Отсюда и строки Тараса Шевченка в поэме «Гайдамаки»:

*Хвалилися гайдамаки,
на Умань ігучи:
«Будем брати, пане-брате,
З китайки онучі»...*

Арендаторы, или «орендари», как их называли русины, или «эффективные менеджеры» той эпохи, как их называли бы нынче, так умело-безжалостно знали свое дело — сбор налогов, управление землями и фольварками праздных польских панов, торговля водкой в шинках, часто с принуждением и карой, если холоп отказывался ее покупать, пренебрежение чужой верой, — что скоро снискали всеобщую ненависть обиравемых до нитки простолюдинов. Вероятно, даже большую, чем поляки. И когда дело дошло до настоящей войны, многие из них стали жертвами этой сокрушительной ненависти. Еврейский хронист, обладавший среди прочего ярким литературным талантом и богатым воображением, не скупится в художественных средствах, когда описывает бедствия и страдания своих соплеменников:

«...Таковы слова сочинителя Натана Ноты, сына мученика р. Моисея Ганновера (га благословенна будет память праведника) Ашкенази, который жительствовавал в св. общине Заслав, вблизи св. общины столичного града Острог, что в округе Вольтынь, в славной стране Русь. <...> И много святых общин, расположенных невдалеке от мест сражения и не могших спастись бегством, как то св. община Переяслав, св. община Борисовка, св. община Пирятин, св. община Борисполь, св. община Лубны, св. община Лохвица с прилегающими, погибли смертью мучеников от различнейших жесточайших и тяжких способов убиения: у некоторых сдирали кожу заживо, а тело бросали собакам, а некоторых, после того как у них отрубали руки и ноги, бросали на дороге и проезжали по ним на телегах и топтали лошадьми, а некоторых, подвергнув многим пыткам, недостаточным для того, чтобы убить сразу, бросали, чтобы они долго мучились в смертных муках, до того как испустят дух; многих закапывали живьем, младенцев резали в лоне их матерей, многих детей рубили на куски, как рыбу; у беременных женщин вспарывали живот и плод швыряли им в лицо, а иным в распоротый живот зашивали живую кошку и отрубали им руки, чтобы они не могли извлечь кошку; некоторых детей вешали на грудь матерей; а других, насадив на вертел, жарили на огне и принуждали матерей есть это мясо; а иногда из еврейских детей сооружали мост и проезжали по нему. Не существует на свете способа мучительного убийства, которого они бы не применили; использовали все четыре вида казни: побивание камнями; сжигание; убиение и удушение. А многих татары увели в плен; женщин и девушек насильовали; овладевали женщинами на глазах их мужей, девушек и красивых женщин брали в служанки и поварихи, а иных в жены и наложницы. Так они поступали во всех местах, куда приходили; и то же самое делали с поляками, в особенности с

ксендзами. И было убито в Заднепровье много тысяч евреев, а несколько сот их было принуждено изменить вере. Библейские свитки рвали на клочки и делали из них мешки и обувь; а ремнями для тефилин подвязывали сапоги, покрышки же их выбрасывали на улицу; священными книгами мостили улицы или изготовляли из них пыжи для ружей. «У каждого, услышавшего об этом, зазвонит в ушах... — так описывает беды своего народа Натан Ганновер, и продолжает: — Соблюдая строго тайну, он (Хмельницкий) разослал по всей стране, во все места, где живут православные, послания, в которых призывал подготовиться, чтобы в установленный час объединиться, постоять за себя и уничтожить, стереть и убить всех евреев и все враждебное им войско польское вместе с детьми и женщинами, а имущество их разграбить. И стало это известно евреям от православных — их соседей либо грузей. Во всех православных поселениях у евреев были также свои шпионы, и евреи сообщали панам, своим господам, все собранные сведения. Из одной общины в другую с верховыми гонцами посылались ежедневно письма, в которых сообщались новости, интересующие евреев и панов. Поэтому паны очень сблизились с евреями, и они — паны и евреи — стали словно один союз, одна душа, ибо Господь посылает лекарство перед болезнью, если бы не это, был бы конец — от чего да хранит Господь — и остатков Израиля. И по всей стране, во всех местностях, куда достигало послание злодея, была великая радость среди православных и большая скорь среди панов и евреев. Посты и стенания, облачения в рубища и посыпание главы пеплом, покаяние и молитвы — все это не смогло отвлечь гнева небес. «И все же гнев Его не отвратился, и рука Его простерта». Да смилости-гнется над ними небеса!»

Я шел куда глаза глядят уже в одиночестве, оставив Галюню в яркой и развеселой толпе на Крещатике, и каждый шаг отдавался гулко в глубине тела, толкал нечто в утробе, — если бы я умел молиться тогда, я бы, вероятно, молился — о загубленных душах, о затравленных русинах, о слепых и хромых на обе ноги вождях Речи Посполитой, которые не различали и не понимали тех огненных знаков в текущем времени их жизни. Разве что несостоявшийся царь на Москве, а ныне польский король Владислав отчасти нечто провидел, почему и дал православным некоторое послабление в отправлении обрядов своих и легализовал их иерархию. Но и столь скромные послабления были сочтены властью предрержащими панам короны, латинским духовенством и униатской иерархией неслыханной дерзостью и оскорблением польского патриотизма и верности папским догматам. Проклятия прекраснородному и мягкотелому отступнику королю Владиславу неслись и из далекого папского Рима. Да как он посмел нарушить давние благословения?!.. Униаты же наотрез отказались освободить захваченные прежде монастыри и парафии, кафедральные соборы и епископские дома, однозначно оговорившись, что уступят лишь силе.

Сила же имелась в достатке.

И тут было весьма опасное преткновение для внутреннего устройства государства. И если многолетние издевательства над православием и всяческие козни при отправлении богослужения еще можно было кое-как претерпеть, скрипя зубами и только лишь угрожая адекватным ответом, принося символические ритуальные жертвы вроде утопления в Днепре рьяного киевского войта или убийства в Витебске «омерзевшего» всем Иосафата Кунцевича, то когда материальные притеснения касались каждого русского воина, вооруженного самопалом, пикой и саблей, терпение, понятное дело, заканчивалось. А притеснение вероисповедания придавало еще остроты, терпкости и некоей необъяснимой безоглядности тому, что копилось и зрело в народной соборной душе.

Здесь следует сказать несколько слов в пояснение к сложившейся к началу Хмельниччины военной ситуации противостоящих сторон, поляков и русских, или католиков и православных.

Речь Посполитая для защиты своих рубежей от каких бы то ни было неприятелей издавна полагалась на высокую самоогранизованность и патриотизм правящего сословия польской и русской шляхты. При военной угрозе король с сеймом объявляли *посполитое рушение*: в определенных местах собиралась вооруженная шляхта со своими отрядами, кто мог себе это позволить, или с парой вооруженных вассалов, совместно с отрядами *обороны поточной*, или, говоря по-другому, наемниками, и они совместными усилиями осуществляли войсковые задачи, поставленные польным (полевым, иначе же — походным) гетманом. Само собой разумеется, такая военная организация дела была весьма неповоротлива и неэффективна. Пока паны соберутся с духом и с силами, пока решат, кому отправляться в посполитое рушение, а кому оставаться в фольварках, пока господа экипируются и вооружают своих гайдуков, пока доберутся до места сбора, а затем до места, где предстояло сражаться, — драгоценное время проходит, теряется. Главными врагами Речи Посполитой были крымчаки, которые несколько раз в год вторгались из-за Перекопа в пределы Польши и Южной Руси

за добычей, которая состояла преимущественно из *ясыря*, т.е. живого товара, который успешно и прибыльно продавался в Кафе и других прибрежных городах полуострова до времен Екатерины II, когда Крым в результате нескольких русско-турецких войн стал российским. По самым приблизительным данным через крымские невольничьи рынки с середины 14-го столетия и до покорения полуострова Российской империей было продано от трех до пяти миллионов славянских рабов. Захват ясыря был вполне традиционным вековым промыслом у татар, и без ясыря Крым просто не способен был экономически существовать. Работоторговля в Крыму весьма поощрялась просвещенной Европой, и это вполне объяснимо: современные исследователи вопроса подсчитали, что прибыль с каждого купленного в Кафе раба и перепроданного затем в Геную или в Венецию, достигала до 500 процентов. Отразился этот печальный и трагический промысел крымцев даже в национальных языках якобы просвещенной Европы. Так «раб» по-английски — «slave», славянин же — «slav». То есть, говоря другими словами, никаких других рабов, кроме славян, не было в сопредельных землях Речи Посполитой и Московской Руси.

Как можно было отказаться от такой «золотой жилы» и чем-то мирным и внятным ее заменить? Конечно, никак и ничем. Летучие и мобильные отряды крымчаков вторгались на пограничные земли Польши, Литвы, Московского царства, Кубани, Кавказа, хватали людей, детей, молодых женщин, подростков, сбивали их в отары, как скот, и гнали через Дикое поле и солончаки к Перекопу. Понятно, что когда посполитое рушенье и оборона поточная были наконец-то готовы выступить против татар, те уже свой ясырь не только переправляли к пограничной крепости Перекопу, но и прогоняли до самого южного побережья, до Кафы.

Османский путешественник Эвлия Челеби писал о крымском невольничьем рынке в Карасубазаре:

«Человек, который не видел этого рынка, ничего не видел в этом мире. Мать отделяется там от сына и дочери, сын — от отца и брата, и они продаются среди плача, криков о помощи, стенаний и печали».

И только при очень счастливом стечении обстоятельств, как в далеком 1575 году, братья Ежи-Юрась и Щастный-Якуб Струси, находясь в авангарде с горстью тяжело-вооруженных улан, не дожидаясь подхода основных сил посполитого рушенья, разгромили большое татарское войско под Сенявой, когда те возвращались с добычей. Когда подоспела подмога, то жолнерам пришлось только лишь потрудиться в сборе трофеев и оружия да ловить по степи татарских коней. 12000 человек ясыря отбили под Сенявой братья Струси у крымчаков!.. И 20 лет спустя люди помнили этот подвиг. По числу же отбитых пленников можно представить масштабы промысла крымчаков в Речи Посполитой. Последний набег крымчаков имел место в 1768 году, в котором, по осторожным оценкам историков, татары захватили около 100 тысяч невольников, — а ведь на дворе стоял уже век Екатерины Великой, и до окончательного решения «крымского вопроса» оставалось три года...

Польские короли, конечно же, пытались бороться с такой чехардой и каким-либо образом упорядочить войсковое устройство внутри государства. Ведь при наличии таких опасных соседей, как Крым, Московское царство и Османская империя, не говоря уж о германских и волошских княжествах, а затем и Швеции, откуда, собственно, происходила династия польских королей Ваза и которая сыграла роковую роль в так называемом Потопе во время русско-польской и польско-шведской войн, уже после потери Южной Руси, у Речи Посполитой фактически отсутствовала регулярная армия, и полагаться на своевольную шляхту в деле защиты границ было весьма неразумно и легкомысленно из-за совершенной непредсказуемости дворян. Ведь знатный пан или богатый магнат, имевший даже зачастую свою личную армию, мог просто не захотеть при определенном раскладе принимать участие в посполитом рушенье: хочу воевать — воюю, не хочу — сижу в своем замке и пирую с вассалами и друзьями, а война — она где-то там далеко, справитесь без меня. Конечно, когда война и опасность угрожала непосредственным образом владениям, землям и местечкам самого шляхтича, он без раздумья выступал со своими вооруженными клевретами на войну, вливался в посполитое рушенье и отважно воевал, не щадя здоровья и живота, но когда военные дела проходили где-то там, на южных рубежах, в Диком поле или же под Смоленском, умозрительный шляхтич вовсе не горел желанием подставлять грудь под пули и голову под острый клинок крымчака, запорожца или секиру стрельца. Он — оставался дома... Исключением стала разве только московская Смута с чередой Лжедмитриев и тотальным предательством московских бояр, — тут уж вся знать Речи Посполитой ринулась на бесхозные территории — наживаться и грабить. И то, в конце концов, не смогла ладу дать левашей в руинах московской земле... Один лишь Смоленск да несколько городков выторговали у очнувшихся от смертного мороза лукавых московских бояр. Да и то — до известной поры... Внутренняя демократия и губительная

свобода в Речи Посполитой просто не знала ничего даже отдаленно подобного в современной Европе: ведь в конституции государства было прописано даже право шляхты на *рокош*, т.е. восстание, бунт и мятеж не только против тех или иных действий короля, но даже и против постановлений сейма. Причем каждый король, начиная с Генриха Валуа, вынужденно подписывал такой документ, предусматривавший право шляхты на этот самый рокош, и происходило оно от средневекового, еще рыцарского, права не повиноваться в особых случаях королевской власти. Юридической основой права шляхты на рокош было право на отказ в послушании королю (*non praestanda oboedientia*), зафиксированное в так называемых «Мельниковском привилее» (23 октября 1501 года), «Генриховых артикулах» 1573 года и *Pacta conventa* (которые и подписывал при избрании каждый король, начиная с помянутого Генриха Валуа). Одними из наиболее крупных рокошей были «петушиная война» (1537 года) и рокош под руководством Миколая Зебжидовского против Сигизмунда III Вазы в 1606-1607 годах (иначе же «Сандомирский рокош»), в результате которого власть короля была существенно ограничена, а привилегии шляхты упрочены и расширены. В этом рокоше Зебжидовского, помимо всего прочего, было и настоятельное требование шляхты удалить из Речи Посполитой иезуитов, которые весьма надоели даже ревностным и твердым католикам. Но Сигизмунду удалось отстоять своих иезуитов от разгневанных высокопоставленных бунтовщиков.

Сигизмунд II Август, отчаявшись совладать со своеволием шляхты, решил пожертвовать собственными капиталами и за свой счет нанять, обучить и содержать новое регулярное войско. В 1562 года в городке Петрикове сейм утвердил предложение Сигизмунда II относительно этой военной реформы. Из-за нерегулярных выплат жалования дисциплина в наемных войсках обороны поточной оставляла желать лучшего, поэтому на содержание постоянной наемной армии было принято решение выделять четвертую часть доходов (или кварту) с королевских имений (отсюда и название войска: кварцаное — то есть четвертное). В 1569 году после Люблинской унии кварцаное войско появилось и на территории Великого княжества Литовского. Немного раньше, в 1555 году, регулярная военная сила из русинов, или же козаков, появилась за днепровскими порогами на острове Малая Хортица, дабы охранять от крымцев водный путь вглубь Великого княжества Литовского, в состав которого до Люблинской унии входили земли Южной Руси-Украины. Эта войсковая залога была названа по своему географическому расположению. Основатель ее, князь Дмитрий (Байда) Вишневецкий, был старостой Черкасским и Каневским. В 1554 году Сигизмунд II Август официально назначил Дмитрия Вишневецкого «стражником» на днепровском острове Хортица. Козаки Вишневецкого возвели земляные укрепления и деревянный детинец и начали речные и морские походы в обратном уже направлении — к морю и к крымскому побережью, разоряя татарские аулы в отмщение за вторжения и промысел ясыря. Таковым было начало реестрового козацкого войска, которое во времена Вишневецкого насчитывало всего-то 300 человек. Наш отдаленный предок (как я втайне надеюсь, хотя надежда моя чрезвычайно зыбка) Юрий Язловецкий, будучи в те времена коронным гетманом Речи Посполитой, тоже к созданию Запорожья приложил свою владетельную руку, основав между делом и войсковыми заботами и крепостицу Кременчуг у первых, чуть ниже по течению уже страшных и непреодолимых, днепровских порогов. Вот как поминается о том в Википедии:

«Грамота Сигизмунда II Августа от 5 июня 1572 года, переданная на Запорожье, предлагала запорожцам поступать на королевскую службу, для несения охранной службы и полицейских обязанностей. Король подтвердил распоряжение коронного гетмана Ежи Язловецкого о наборе 300 казаков на государственную службу».

Затем количество реестровых колебалось и порой весьма значительно, в зависимости от нужды и военных предприятий Речи Посполитой. Реестровым козаком хотел стать каждый добрый молодец, родившийся в Южной Руси, — можно сказать, это было мечтой каждого, кто хотел выбиться в те времена в люди. Козак, чье имя было вписано в войсковой реестр, один раз в год получал неплохое денежное и вещевое довольствие от короны, освобождался от податей, становился в каком-то смысле неприкасаемым; со временем реестровая козацкая старшина богатели, покрывалась подкожным жирком, даже получала «безгербовое» дворянство... Реестровые козаки были выделены в особое сословие. Начав свое существование с 300 человек, сословие возросло при короле Стефане Батории до 800, хотя Баторий в первые годы свои и вовсе упразднил козацкий реестр: он, как и прочие властители Речи Посполитой, весьма опасался этой мало контролируемой буйной силы. Но государственные интересы все-таки превозмогли личное нерасположение короля: содержание реестровых козаков для королевской казны было выгоднее, чем содержание наемных войск. Так, расходы на 6000 козаков оказывались меньше, чем на 600 наемных пехотинцев. В 1577 году Стефан Баторий так писал о козаках крымскому хану:

«Мы их не любим и не собираемся беречь, да же наоборот, собираемся ликвидировать, но в то же время не можем держать там (за порогами) постоянно войско, чтобы им противодействовать».

Реестр медленно, но неуклонно увеличивался: 300 человек во времена князя Вишневецкого, 600 и 800 при Батории, затем 3000, 5000 и 6000 при Сигизмунде III... Во время похода на Москву в 1618 году в реестр правительство было вынуждено зачислить все 20000 человек, выступивших под командованием Петра Сагайдачного. На других условиях казаки не соглашались воевать с москвитями за водворение на царском престоле королевича Владислава Вазы. При осаде Смоленска в 1609 году в реестре числилось уже 50000. В 1621 году, во время войны с Османской Портой — 40000 человек. Тогда под Хотинском гетман Петр Сагайдачный получил смертельную рану отравленной татарской стрелой. Но это — исключительные случаи, ввиду военной необходимости. Когда война заканчивалась и казаки возвращались на свои хутора и заимки, королевские власти непременно сокращали число реестровых, которых снова становилось от 5000 до 6000. Но добрые боевые молодцы, попавшие по военной государственной нужде в число 20, а то и 40 тысяч, мечтали только лишь об одном: остаться в этом реестре до конца жизни. И когда начиналось жесткое сокращение числа легальных, так сказать, козаков, остающихся на государственном довольствии, вместе с тем начинались и недовольства, а то и вооруженные бунты. Численность реестровых козаков во время Хмельниччины 1648–56 годов говорит сама за себя — польское правительство, будучи в отчаянном положении, разрешило реестр в 40000 человек (по Зборовскому договору 1649 года), правда, сейм не утвердил такого количества. А в 1651 году — 20000 человек, уже по Белоцерковскому договору... Из самих этих невероятных цифр можно понять, что Речь Посполитая просто погружалась в пучину хаоса и гибели, и что там было уже мелочиться?.. Да хоть 100000, да хоть миллион козаков пусть записываются в реестр — все равно платить уже никому из них было неоткуда и нечем... Со времен Наливайка в подобные социальные кризисы бывала у поляков уверенность, что «Вся Украина покочкалась...» Политической и дипломатической уловкой в 1654 году было и обещание московского царя Алексея Михайловича о невиданном от века козацком реестре в 60000 человек — когда Южная Русь уходила из Речи Посполитой под высокую руку Москвы... Другое дело, что обещать можно что угодно, а вот выполнять обещания не всегда получается.

Но я все же не об этом сейчас.

В 1650 году население Речи Посполитой насчитывало около 11 миллионов человек. Королевское регулярное (то самое кварцянское) войско — 5000 человек, реестровое козачество, без учета низовых, или же «диких», козаков насчитывало 6000 человек. Низовых козаков посчитать было весьма затруднительно. При всем этом русское, или православное, население по мере составяло, думаю, если не половину, то точно не менее трети подданных короля. Я не учитываю здесь литвинов, этнических предков сегодняшних белорусов. Большая часть их тоже была православной, и так же, как русины на юге, они испытали все «прелести» насаждаемой силой после 1596 года церковной унии.

Исходя из всего этого нетрудно понять, какая мина замедленного действия была заложена в государственное устройство Речи Посполитой. Если не считать дворянского посполитого рушения, собиравшегося время от времени по военной нужде, то пяти тысячам регулярной армии противостояло одних реестровых козаков на тысячу больше. Конечно, правительство, поощряя и подкупая различными льготами реестровых, изо всех сил старалось противопоставить их не только беспорядочному бесчисленному русскому холопству, но и вольным козакам, сидевшим в куренях за днепровскими порогами. При всяческих неприятностях и мелких заварушках на землях Южной Руси реестровые казаки по приказу из Варшавы исполняли и полицейские функции, подавляя волнения своего же простого народа. Нередки были вооруженные стычки реестровых козаков и с запорожцами, — и все это играло на руку польскому уряду, т.к. не давало сплотиться и консолидироваться русинам в нечто целое, заявить о своих правах во весь голос, смести в конце концов ненавистную церковную унию, не говоря уж о том, чтобы помыслить о собственной государственной автономии, которую снова-таки пообещали не скупко московские бояре с царем Алексеем Михайловичем... Ну а экономический, политический и духовный гнет, совершеннейшее непонимание государственных чинами и умами того, в какую западню загоняют они безмолвную до времени массу народа, не поддается никакому оправданию. Польские паны своими руками пилили тот сук, на котором сидели. Для восстаний не нужно было искать даже какого-то повода: со времени гибели гетмана Сагайдачного, когда вроде бы сам Сигизмунд III прислал к умирающему собственному королевскому лекаря, чем выразил Сагайдачному свое уважение и признательность за все войсковые свершения и победы, сразу же хрупкий мир, если таковой еще и имелся, был нарушен: Сагайдачный умер

в 1622 году, а в 1625, ввиду попытки правительства после Хотинской войны сократить количество реестра, вспыхнуло восстание под руководством Марка Жмайла. В 1631 — восстание Тараса Трясила. В 1635 — разрушение королевской Коцацкой крепости на Днепре гетманом Иваном Сулимой. В 1637 — восстание Павлюка. В 1638 — восстание Якова Острянина и Гуни...

И это все — в эпоху так называемого «золотого века» короля Владислава...

Общие задачи всех этих восстаний, подавляемых с большой жестокостью, граничащей со свирепостью, были практически одними и теми же: уничтожение церковной унии, послабление посполитому люду с повинностями и налогами, увеличение численности и неприкосновенность реестрового войска... Согласно «Летописи Величка», в марте 1638 года накануне похода Яков Острянин, избранный гетманом, обратился с универсалом к народу, в котором извещал, что выступит «с войском на Украину для освобождения православного народа от ярма порабощения и мучительства тиранского ляховского и для отмщения починенных обид, разорений и мучительных ругательств... всему посполитву рога русского, по обеим сторонам Днепра мешкающего». Читая о казнях, которыми заканчивались эти спорадические и обреченные восстания, удивляешься тому, что через десяток-другой лет сами поляки вспоминали годы царствования короля Владислава Вазы как «золотое время», как «утерянный рай», как «последние спокойные годы». Может быть, этому способствовали эти кровавые победы — Николая Потоцкого, Станислава Конецпольского, банды Самуила Лаща, «героев» полузабытых восстаний времен короля Владислава — победы, которых так уже не хватало в скорых уже временах Хмельниччины, когда восстала против Речи Посполитой окончательно вся Южная Русь-Украина.

Николай Потоцкий, уставивший десятки верст — от Днепра до Нежина — колями с насаженными на них козаками и посполитыми в устрашение оставшимся жить до поры, писал так о повстанцах: *«Мужики выражали такую заклятость и упорство, что все отказывались от мира. Те, у кого не было оружия, били солдат оглоблями и дышлами...»*

Спасаящиеся от лютой и ненасытности в казнях этого магната, в Хмельниччину уже коронного гетмана и победителя козаков в битве под Берестечком, повстанцы 1638 года гетманов Гуни и Павлюка массово переходили рубеж между Речью Посполитой и Московским царством, где заселяли нынешнюю Слободскую Украину — Харьковскую и Белгородскую области, жители которых и по сей день носят в полном себе украинские фамилии, перекроенные на российский лад. Так Зозуля, к примеру, со своей ярко выраженной малороссийской фамилией, в переводе означающей «кукушку», со времен восстания Павлюка стал ныне Зозулевым, и все в таком духе. Яков же Острянин в своих универсалах, подобно выше цитированному мной еврейскому дееписателю Натану Ганноверу, тоже повествует о так называемом «золотом веке» при короле Владиславе, но уже на свой лад: Войско Запорожское, говорит Острянин, не в силах уже видеть *«отцов и матерей своих всегда опозоренных, а также братьев, сестер и жен, тирански замученных, в проруби ледяные в морозы зануряемых и обливаемых, в плуги, как скот (чего под солнцем неслыханно), запрягаемых... битых кнутом и поганяемых... чтобы хорошо тянули... на едино посмешище и поругание»*.

Вторит Острянину и белгородский воевода — со слов беглецов из Речи Посполитой — в своих донесениях в Москву о происходящем: *«Польские и литовские люди, их (козаков) христианскую веру пренебрегают и церкви Божию разрушают, а их убивают и жен их и детей, собирая вместе, сжигают, курят и порох, насыпавши им в пазуху, и грудь у жен их резали, и двор их и дома грабили и уничтожали»*.

Одновременно с Николаем Потоцким в Южной Руси орудовала и банда — иначе ее не назвать — стражника великого коронного Самуила Лаща, начавшего свою карьеру еще во времена московской Смуты, во время похода поляков для водворения на московский престол королевича Владислава в 1617-18 годах, непременно участника не только всех тогдашних военных предприятий Речи Посполитой, внутренних домовых войн, но и беспощадного карателя всех, без исключения, козацких восстаний «золотого века», захватившего краем своей жизни и Хмельниччину. Лащевцы просто вырезали население целых городов, таких, например, как Лисянка и Дымер, несмотря ни на пол, ни на возраст, находя эту тактику наиболее эффективной в подавлении козацких восстаний.

«Господин Лащ, в Киев уходя, — писал львовский летописец, — Лисянку-городок на самый день Пасхи, всех наказал как мужей, так и жен, так и детей, в церкви бующих, и попа с ними, по дороге людей невинных, чтобы только русин был, забивали».

К Лащу присоединилась кучка реестровых козаков, отработывающих верой и правдой свои реестровые сребреники. Вслед за Лащом на Киевщину отправился Станислав Конецпольский, гетман коронный. Выступлению войска короны государственные мужи пытались придать вид крестового похода на козаков. В городок Бар на проводы

гетмана собралась вся местная польская шляхта. Во время торжественного богослужения доминиканцы обнесли вокруг костела и потом освятили меч Конецпольского, благословляя его «Русь искоренить»...

Вероятно, стоит добавить, что Самуил Лащ зверствовал не только в подавлении козацких мятежей и восстаний, но и в мирных, так сказать, временах, наезжая на соседей, сжигая и разоряя замки шляхты, присваивая села и городки. Такова уж натура была у него. Возросши посредством захватов и отчуждений до магнатского уровня, получив за верную службу от короля крупные земельные владения на Киевщине, залитой кровью его бандой, Самуил Лащ сформировал собственный отряд из тысячи всадников, готовых на все, и продолжил активную «мирную» деятельность. Он продолжал нападать на соседних шляхтичей, грабил имения, присваивал луга, леса и поля, захваченных женщин отдавал на поругание и растерзание своим людям, а случайным жертвам, попавшимся под горячую руку, приказывал отрезать носы и уши для устрашения. Соседние землевладельцы могли только постоянно жаловаться в суд. Суд же принимал решения в их пользу, но не мог воплотить приговоры на деле. За двадцать лет накопилось 236 решений суда о банниции (лишении прав и изгнании из государства) и 47 решений об инфамии (лишении чести). Но Лащ был непотопляемым. Согласно легенде, из всех этих приговоров Лащ велел шить себе плащ, в котором имел наглость явиться при королевском дворе. За отвагу на поле боя от выполнения наказаний его защищал гетман великий коронный Станислав Конецпольский, выдавая охранные письма на отсрочку их выполнения, под чьим командованием он находился с 1623 года. В начале освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого, в 1648 году, Самуил Лащ принял участие в ряде первых сражений с восставшими. Сражался с козаками под Пилявцами (сентябрь 1648), под командованием князя Иеремии Вишневецкого в битве под Староконстантиновом (июль 1648), не считая мелких стычек. Коронационный сейм 1649 года, учитывая верность короне, вернул Самуилу Лащу прежние права, отменив все банниции и инфамии, наложенные ранее на него судами. А 15 февраля 1649 года Самуил Лащ мирно скончался в Варшаве. Общество ему составлял только цыган-скрипач, которому умирающий приказывал громко играть, если приходили кредиторы... Вечный покой Лащ обрел в краковском костеле св. Стефана.

Остается только добавить, что сам Владислав Ваза с детства весьма любил всяческие искусства и, став королем, заказывал картины Рубенсу и его ученикам, переписывался с Галилеем, способствовал зарождению оперы в Польше...

Таков был «золотой век» короля Владислава IV, сравнительно, как оказывается, мирный по сравнению с той кровавой баней, которая началась вскоре после его смерти в Речи Посполитой.

Глава 17. ПОТОП И РУИНА

Что-то я напророчил тогда, полгода назад, в сылом и сыром киевском марте 2020 года, когда поминал об «утраченном рае», сошедшем с подмостков истории с кончиной короля Владислава IV Вазы. Наша государственная самостийная телега худо-бедно, теряя колеса и различные причаңдалы, кое-как тарахтела по кочковатому шляху по направлению к вождельной Европе, даже несмотря на бесконечное военное противостояние на Донбассе, как вдруг ко всем искушениям и негарздам обрушилась на весь мир какая-то пандемия коронавируса, который, презрев все государственные границы и международные договора, накрыл всех нас смертным, липким и непроглядным туманом, в котором даже миражи, из которых, по сути, и состоит наша жизнь, исчезли, не говоря уж о призрачных целях, обманчивых смыслах, сторонах света и прочем. Мы будто бы оказались в новой реальности, неведомой, невразумительной, потусторонней, и ныне за каждой кочкой под ногой путника таилась опасность смертельной болезни. Даже предшествующие времена, за исключением разве что 2014 года, который стал неким Рубиконом, можно ныне расценивать как «райские». Не ведали своего счастья, как водится.

Успею ли я дописать свою летопись? Хватит ли времени моей жизни на то, чтобы беглыми словами и неким пунктиром обозначить значимые события драматического и страшного массива и месива истекших веков нашей истории, исполненной трагических ошибок, обоюдного ослепления, гнева и ненависти? Лечит ли время?.. Вопрос риторический. Конечно же, нет. Но системные ошибки только накапливаются, чтобы погрести под сущим Монбланом последние остатки, крохи, ошметки каких бы то ни было внятных смыслов. Русин-украинец и поляк навсегда становятся кровными врагами, и в середине 20-го века, на Волыни, когда война развязала руки и отменила последние моральные ограничения, в который раз продолжилось беспощадное взаимоистребление двух народов, некогда живших в одном государстве. Это к

вопросу о времени, — его попросту нет, но длится безысходное настоящее. И в этом вот «навсегда» отнюдь не зерно воскресения или переход на другой, более высокий, уровень отношений, — ведь даже социализм в Польше во второй половине 20-го века с декларируемой изо всех сил пропагандистской «дружбой народов», с намеренными знаковыми глобальными событиями вроде учреждения «Варшавского военного блока», — оказался паллиативом, подменой, закапыванием головы в песок по-страусиному, — потому что соборная душа народов в своем генетическом коде, в неведомых глубинах подсознания все накопленное сохраняет и бережет. Может быть, к сожалению... Тут никак не приложить евангельских высоких заветов о «левой щеке», о «прощении врагов», о самопожертвовании. Пророк Исаия, духом святым провидя воплощение сына Божия, так описывал наступающие времена в 11 главе пророчества своего:

«Тогда волк будет жить вместе с ягненокм, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море».

Но где таковой мир?.. Где?.. И разве наша земля «наполнена ведением Господа»? Не язычники ли мы? Наша плоть, наша кровь, наши вековые обиды, наша вера, в конце концов, освященная благословением самого папы римского на уничтожение польской Руси-Украины, — все это никакого отношения не имеет к словам и делам спасителя мира. Наши предки, наши отцы и мы сами продолжаем жить в контексте Ветхого завета: око за око, зуб за зуб... Знатная шляхта Речи Посполитой середины 17-го столетия, все эти Конецпольские, Потоцкие, Вишневецкие, Ходкевичи, Радзивиллы и прочие — разве были они избранными сосудами духа святого или же воинами христовыми? Нет же, но, раздувшись от гордыни обладания несметными богатствами, бескрайними землями, неисчислимыми подневольными посполитыми, разве что по воскресеньям осеняли небрежно в костеле себя крестным знаменем, но при этом мнили себя защитниками Святого престола и латинского богослужебного обряда, с презрением относясь даже к церковной унии 1596 года, не говоря вовсе о православии с его тогдашней дикостью и темнотой, олицетворением которых были горе-епископы вроде Терлецкого и Борзобогатого, о которых я уже говорил. Это еще удивительно даже, что Православная церковь еще раньше не была продана в Рим за какой-нибудь замок где-нибудь в Корце или даже за званый обед. Поместную церковь пропить и проесть?.. А что такого? После меня — хоть потоп! — так, должно быть, рассуждали епископы «добрестской» поры. Да и потом — эти слова из евангелия от Иоанна «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе», — ведь они без должного глубокого понимания и разумения стали через полторы тысячи лет просто бессмысленной мантрой, поводом для принуждения и насилия самозванными «апостолами единения», от которых было бы меньше вреда и ущерба для государства, если бы они проводили дни своей жизни с кубком мальвазии в пухлой руке, или в охотах в мазовецких болотах, или в балах с прекрасными ликом панянками из соседних имений. Когда же православный народ очнулся от болотного морока сладких словес о мнимом порядке в церковных делах и о первенстве папы и взялся за дубину, оглоблю, самопал и козацкую саблю, державцы и гетманы Речи Посполитой ничего другого не придумали, как ломать русский хребет грубой силой или, по слову апостола Павла, «невежду страхом спасти». После мятежей и восстаний Трясила, Павлюка, Острияницы и Гуни шляхи Южной Руси уставлены были бесчисленными крестами с распятыми и колами, на которых по полгода сидели иссохшие под солнцем мумии запорожцев, разворачиваемые силой ветров в разные стороны, будто флюгеры... Но семена устрашения невероятными казнями падали на каменную землю, страх смерти, опасности и обреченности вовсе не укоренялся в русском народе, как ожидалось расправщиками, но, напротив, души людей застывали, словно в расплавленном стекле, в каком-то невероятном и необъяснимом никакой логикой отчаянии, которое саму смерть побеждало своей безмерностью, становящейся метафизической силой. И польская грубая сила, не знающая пощады и милости, вызвала ответное противодействие русских. В умозрительном государственном котле Речи Посполитой к середине 17-го века создалось столь невероятное внутреннее напряжение, что взрыв был неминуем. Но кто из власть имущих тогдашней державы понимал это? Слабые голоса людей, подобных Льву Сапеге, когда он тщетно пытался вразумить ревностного в казнях православных в Литве Иосафата Кунцевича, терялись в грохоте победных реляций, в звоне литавр, в торжественных мессах и освящениях сабель, которым вскоре предстояло снимать головы с непокорных русинов, в литых латинских словах папских булл, укоряющих короля Владислава IV за то, что тот легализовал православную иерархию, дал выйти ей из подполья и даже

обещал вернуть некоторые храмы и монастыри в Киеве...

Но не успел собеседник Галилея и почитатель Рубенса в относительном мире и весьма призрачном покое отойти к праотцам, как началась полномасштабная гражданская война 1648-1654 годов, в результате которой Речь Посполитая лишилась Южной Руси.

— О, если бы только ее, — заметила моя жена Лика, когда я самозабвенно об этом вещал.

Назвать ли рассказ мой беспристрастным, спокойным, размеренным? Даже не знаю. Ведь ни о чем благополучном и мирном я не пишу, и на этих страницах вполне зашкаливает градус политической, социальной и человеческой неправды, череда всяческих нравственных, политических и социальных преступлений не имеет начала, не имеет конца. Но теперь, когда я приблизился к роковым 1648-1654 годам, которые стали точкой невозврата для Речи Посполитой, отделившей славное прошлое от позорного будущего, у меня просто опускались руки и каменела душа.

Я все прислушивался к метафизическим токам в себе, пытаюсь уловить что-то генетически польское, родное и трепетное, но советские времена, кажется, намертво закатали под толстый панцирь коммунистического интернационального асфальта те едва живые, немощные ростки, которые, может быть, еще теплились в моих дедах, Маршалках-Язловецких, и в дяде Нектонаполеоне, сгинувшем искупительной жертвой за былые неправды народа. И только теперь, приблизившись не к осмыслению даже событий Хмельниччины, а просто к безэмоциональному и вполне себе равнодушному исчислению стычек, сражений, сеймовых препираний, договоров, разновекторных переговоров Хмельницкого с современными ему государями, умозрительному построению козацким гетманом и вождем различных, вполне химерных, планов о создании некоей государственной федерации с Семиградьем, Волощиной, Молдавией под протекторатом Османской империи, а затем уже и с Москвой, нечто во мне дрогнуло, сдвинулось, и я почувствовал едва ли не физически, как смертная скорбь медленно и неотвратимо начинает подниматься в душе: я был бессильным свидетелем гибели великого государства, принесенного на алтарь безумной тысячелетней идеи о... первенстве римского первосвященника...

И что я мог сделать? Что я мог изменить? Кого и как мог я остановить, когда от творцов тех дел и событий остались лишь имена, зыбкие и неверные тени, исчезнувшие после того, как киносеанс в ДК им. Ворошилова в Кобеляках закончился и контролер тетя Мотя включила свет в зале?..

Скорее на выход, в солнце и зелень далекого дня нашего детства, в благословенные запахи, растворенные тихим ласковым ветром из-за Ворсклы, — и забыть обо всем поскорее...

Да и что, в принципе, нового я могу рассказать о Хмельниччине, или — по советской терминологии — «освободительной войне украинского народа за воссоединение с Россией». Что мне добавить к историческим летописям, тщательным розыскам поколений ученых историков, не в пример мне талантливых и даровитых, и даже к целой библиотеке художественных романов, посвященных этой катастрофической по последствиям войне, когда, по одной версии, *«вековые чаяния русского и украинского народов наконец-то сбылись»*, а по другой версии, *«Россия использовала польскую смуту для того, чтобы преступно аннексировать Украину»*. (Что-то чрезвычайно похоже с Крымом в 2014 году мы наблюдали. Разве что без пускания крови и без борьбы. Но это уже сродни высшему политическому пилотажу, о котором здесь не место вести разговор).

— А ты, Лешек, ничего не пишешь, — сказала на мои кухонные вопрошания и терзания моя многомудрая Лика, — все ведь написано о Хмельницком. Не множь досужие слова. Кому надо — пусть припадают к источникам.

— Но источники — они тоже ведь разные, — ответил ей я. — Польские хулят Хмеля и поносят почем зря, козацкие и российские хвалят, а советские — так те просто превозносят Богдана до небес за пророческую дальнорзоркость. Поляки же не просто вываляли Хмеля в словесной грязи и дегтем облили, но когда жолнеры Стефана Чарнецкого в 1664 году захватили Правобережье, когда добрались они до Чигирина, то первым делом разорили могилу его и прах уничтожили. Какая уж тут беспристрастность источников?..

— Да уж, — сказала мне Лика, — история — опасная штука. Лучше бы ты бизнесменил, мой друг, возил бы из Турции электротовары и кожу... Пропустил ты, Лешек, благоприятный момент...

Эта война стала беспримерной по степени жестокости с обеих сторон. Особенно отличился Иеремия Вишневецкий, магнат русского происхождения, племянник митрополита Петра Могилы. Его мать, Раина Могиланка, вошла в историю Южной Руси как щедрая церковная благотворительница, основательница трех славных крупных

монастырей — Густынского, Ладанского и Лубенского. Примечательна во всем фигура ее — дочь молдавского господаря Иеремии Могилы, сестра митрополита Киевского Петра, супруга крупного литовско-русского князя-магната, старосты овруцкого Михаила Вишневецкого, мать палача и расправщика над козаками Хмельницкого Иеремии, бабушка будущего короля Польши Михаила Корибута Вишневецкого... Все вместилось в одну женскую судьбу длиною всего-то в 30 лет... Просто космические скорости жизни минувшей эпохи...

— А ты говоришь: выключатели и розетки, — посетовал я Лике. — Ну что с тебя, курицы, взять?..

— Да, с Раиной Могилянкой мне не сравниться, — обиделась Лика и занялась приготовлением борща.

Сын Раины Иеремия, или, на малороссийский лад, Ярема, как его прозывали козаки, тоже недолго прожил и умер в 39 лет в военном лагере под Павлолочью, в самом разгаре Хмельниччины. Воинское свое мастерство он начал оттачивать еще в Смоленской войне с Московской Русью, и прославился тем, что сжигал деревни и города, приказывая «ни огня, ни железа врагу не жалеть». В этой войне, осаждая Путивль, Курск и Севск, он получил страшную славу и такое же страшное прозвище Поджигателя. Восстания Острияницы и Гуни не могли пройти мимо него, да и было бы странно ему уклониться от подавления их: Иеремия был полновластным хозяином громадных пространств на Левобережье Днепра, называвшихся в ту пору попросту Вишневецчиной. В 1641 году, после смерти дяди Константина, Иеремия становится старшим в роду и наследует все владения Вишневецких. Князь начинает запланированную и очень успешную акцию по колонизации Заднепровья. К 1645 году количество населения в его владениях выросло в семь раз (до 38000 домов и 230000 подданных). Сюда сбегали правобережные крестьяне, привлечённые обилием земли и двадцатилетними налоговыми льготами. В его столицу Лубны собиралась мелкая беспоместная польская шляхта, которая занимала административные должности на княжеских землях. Князь имел одну из крупнейших магнатских армий Речи Посполитой. Она насчитывала от 4 до 6 тысяч воинов, а в случае необходимости князь мог выставить, по различным сведениям, от 12 до 20 тысяч вооружённых людей. «Он принёс на эти земли закон и порядок», — с удовлетворением сообщают польские историки. Мог ли такой рачительный хозяин, владелец 230 тысяч подданных, попустить мятежи, или же ворохобню, по-малороссийски, близ своих латифундий? Конечно же, нет. Потомок крепкого православного рода в 1631 году стал католиком и таким, какого еще стоило искать в коренных польских пределах, и на своих землях активно способствовал распространению католицизма. Правда, существует легенда, что Раина Могилянка благословила сына до последнего часа хранить веру отцов, православие, но Иеремия, по ряду причин, нарушил материнское благословение. Прямых преследований православных, как таковых, в Вишневецчине вроде как не было, но давление, подспудное и явное, все же наличествовало, разумеется. Первоначально использовались экономические методы, позднее — военные. Опорой для князя в проведении этой политики прозелитизма были иезуиты. Ну, это тогдашняя классика, без них ни одно дело не делалось... При подавлении мятежей Павлюка, Гуни и Острияницы князь Иеремия отличился крайней жестокостью и любовью к пыткам, за что прослыл «грозою казаков». Как писал Николай Костомаров, Вишневецкий «сделался жестоком ненавистником и гонителем всего русского», в качестве казней для мятежников Вишневецкий «придумывал самые изощрённые способы и наслаждался муками, совершаемыми перед его глазами, приговаривая: «Мучьте их так, чтобы чувствовали, что умирают». Тут все-таки надо заметить, что ожесточение было обоюдным: козаки, с боя беря городки, тоже никого не щадил, даже русских единоверцев. Носишь польский кунтуш, разговариваешь по-польски — этого было достаточно для того, чтобы с жизнью проститься. Таковых козаки называли «недоляшками». Вместе с ляхами и недоляшками уничтожались и евреи, верные слуги и арендаторы знатных семейств, густо заселившие как Польшу, так и Южную Русь. Живописания казней и ужасов в эмоциональной передаче Натана Ганновера, еврейского хрониста 17-го столетия, я уже приводил. А вот вполне равнодушное описание одного из многих фрагментов войны из польской хроники, взятое практически наугад:

«Однако вскоре под Пинск прибыли войска Януша Рагзивилла во главе с Мирским. Атаковав город с двух направлений, они захватили улицы, но восставшие заперлись в домах и стали отстреливаться. Поляки подожгли дома. Так был взят Пинск. Далее князь Григорий Друцкий-Горский взял Чериков и вырезал горожан. Отряды Филона Гаркуши и Степана Пободайло осадили Быхов, но у них в тылу появились отряды Григория Друцкого-Горского, и они сняли осаду и отступили. В деревне Смолевичи вспыхнул бунт, но его подавили отряды Иоганна Доновая. Далее армия Януша Рагзивилла перешла в контрнаступление. Отбила у восставших Брест, далее без боя заняла Туров, вырезала там все население и пошла на Мозырь. Город был окружён, вылазка повстан-

цев отбита. Далее город пережил несколько штурмов, а после пал. Затем был взят Бобруйск...» — и все в таком духе. Сегодня, ввиду новых общественно-политических реалий, все-таки дико читать о поголовном уничтожении населения. А ведь за каждым деянием таковым молчаливой стеной стояли сотни, тысячи, десятки тысяч людей, попавших в жернова той страшной эпохи... Кровавый фарш из человеческого мяса... Но ради чего, ради каких целей? По истекшему 20-му веку нам известно, как большевики «железной рукой загоняли человечество в счастье» или немецкие национал-социалисты строили свой Третий рейх ради благополучия и верховенства собственного народа: «Deutschland über alles!»: — «Германия превыше всего!» Что-то подобное просматривается и в 17-м столетии в Речи Посполитой: принудить к миру огнем и мечем, удержать любой ценой в повиновении целый народ, не жалея ни старого, ни малого, попытавшись сперва лишить отцовского образа веры, посеяв унией раздор и разделив на две части единый народ. И, естественно, поляк — господин над русским, над литвином и над евреем...

Тут можно еще понять господство магнатов и шляхты над замордованным посполитым-трудягой, — приоритет денег, власти, гордыни, но и среди равных по имущественному положению представителей польской и русской народности поляк ощущал свое превосходство, а русин — ущербность и подчиненность. Причем эта странная подчиненность была практически встроена в малороссийский генетический код на века: и через 200 лет украинские крестьяне ощущали и считали себя ниже поляков, таких же крестьян, как и они, и современные исследователи, основываясь на исторических материалах, воспоминаниях и различных записках о нравах, свидетельствуют о том:

«Раболепие воспитывалось у «хлопов», которые отличались от панов и религией, и национальностью. Когда Тарас Шевченко впервые пришел в гости к Ивану Сошенко, тот протянул ему для знакомства руку. Шевченко «бросился к руке и хотел поцеловать». Видимо, это был результат долгого «воспитания» в доме Энгельгардов, где господствовали именно польские порядки. В глазах крепостного Шевченко Сошенко, бедный вольнослушатель Академии художеств, тоже был паном» (С. Беляков. «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя»).

И сегодня, ввиду того что некий исследователь Конрад Т. Найлор поместил нашего князя Иеремию Вишневецкого на 45 место в своем списке людей, которые больше всего сделали для Польши добра, разгорелась нешуточная дискуссия прямо на страницах Википедии: «Да кто такой этот Найлор? Где ссылки? По какому праву он составляет подобные списки?»

И еще: *«Прямо святой! Заслужил ненависть всего украинского народа. Отличался звериной жестокостью. По его приказу замучены десятки тысяч мирных жителей (пса крѣв, хлопов православных). Изобретал невероятные по жестокости казни, «чтобы они чувствовали, что умирают». Вырезал целые городки поголовно. Основные методы казни — сажание на кол и поджигание рук облитых смолой голых людей. Некоторым его жолнерам становилось плохо. Поэтому такая не статья, а полная апологетика — скоро его святым провозгласят, ведь он пѣсю кровь, православных схизматиков искоренял?...»*

Надо думать, что сокрушительное поражение войска Богдана Хмельницкого под Берестечком летом 1651 года, в которой погибло от 30 до 40 тысяч козаков, а со стороны поляков пало всего около одной тысячи человек, было звездным часом князя Иеремии. Но ему не суждено было радоваться долго этой победе — спустя месяц он скончался в военном лагере под Паволочью при невыясненных обстоятельствах. Конечно, сразу же заподозрили, что он был отравлен, но публичное вскрытие, при котором присутствовали сотни людей, ничего внятного не выявило. Конечно, надо учитывать и уровень тогдашнего медицинского знания. «Поел соленых огурцов, — как сказали свидетели, — и запил медом...» Ну, не будем обращать внимания на странности гастрономических вкусов князя Иеремии. С другой стороны, если бы отравление Вишневецкого было бы делом рук козаков Хмельницкого, то в какой-нибудь хронике это бы просквозило, — ну как тут не похвалиться ловкостью операции? Тем более сразу же после сокрушительного поражения под Берестечком... Но козацкие летописи молчат... Остается лишь погрузиться в мистическую составляющую события: дела Иеремии переполнили чашу терпения Господа, и он прибрал его с лика истекающей кровью, раздираемой гражданской смутой земли Южной Руси. Тут еще надобно на одну существенную деталь указать: к 1650 году государственная казна Речи Посполитой настолько истощилась, что дальнейшую войну с козаками Хмельницкого вести было уже попросту не на что. Наемники из немецких княжеств, да и отечественные жолнеры с реестровыми козаками бесплатно не воевали. Но война была все же продолжена... волей и тщанием одного нашего князя: его личной армией и на его деньги. Воистину он был злым гением для народа Южной Руси-Украины. Потому тут каждый может

рассудить, чем была его смерть: трагическим совпадением обстоятельств, умелой кулинарной диверсией козака-одиночки, пробравшегося к княжеским огурцам, или Божиим промыслом о князе Иеремии. Останься князь жив, вполне вероятно, что история государства сложилась бы несколько по-другому.

Дела и победы Иеремии Вишневецкого после его смерти были настолько славны и значительны, что отзвуки его подвигов в отчаянных обстоятельствах Речи Посполитой отразились даже на карьере его воспитанника — князя Дмитрия Ежи Вишневецкого, который, несмотря на то что совсем не был удачливым полководцем, стал тем не менее великим коронным гетманом, и сына Иеремии — Михаила Томаша, избранного в 1669 году королем Польским и великим князем Литовским. Но все же некое родовое проклятие довлело над княжеским родом — Михаил Корибут Вишневецкий провел на польском троне всего несколько лет, проиграл войну с Османской империей, в результате которой Речь Посполитая лишилась Подолья и неприступного города-крепости Каменца-Подольского. Тщетой обернулись и попытки вступить в одну реку дважды — вернуть под королевскую руку Правобережье Днепра. До избрания королем Михаил в ноябре 1663 года принимал участие в военной кампании короля Яна Казимира на Украине против московских войск, командовал собственным пехотным полком численностью в 600 человек. Михаил Корибут Вишневецкий умер во Львове по пути на войну с турками в возрасте 33 лет. Наследников после него не осталось. Со смертью его тоже не все понятно. Врачи утверждали, что он умер от переедания, австрийские дипломаты, более квалифицированные в подковерных интригах тех лет, выявили, что Михаил был отравлен, принимая причастие во время мессы в соборе. Кому и для каких целей это понадобилось, осталось неизвестным.

Как бы там дело ни обстояло, но «королевская» ветвь Вишневецких на Михаиле Корибуге пресеклась, а в начале 18-го столетия пресеклась и ветвь «княжеская».

Что стало причиной? Нарушение материнского благословения оставаться в вере отцов? Или соборное, тысячеустое проклятие на века кровавого палача русинов, Поджигателя и мучителя князя Яремы? И куда тут приткнуть «45 место в списке благодетелей Польши»?..

В 1654 году через разоренную войной Южную Русь в Москву за подаянием направлялось посольство во главе с Антиохийским патриархом Макарием. В свите патриарха был и его сын, приметливый, литературно одаренный архидакон Павел Алеппский, оставивший о путешествии этом удивительные записки. Видели путешественники и один из величественных замков князя Иеремии, разоренный повстанцами. Антиохийцы передвигались неспешной процессией по выжженной земле, видели разоренные города, оставленные усадьбы и замки, ставшие прибежищем для диких зверей, заросшие сорняком нивы, но при этом, сообщает архидакон, не это их удивляло, но люди, пережившие только что ужасы и обоюдные зверства противостоящих сторон. Ко времени путешествия ближневосточных церковных гостей, во время которого направо-налево значному русскому люду — козацким старшинам, полковникам и сотникам с семьями продавались «православные индульгенции» о прощении грехов за подписью и печатью патриарха, война уже завершилась, и край лежал в руинах и в дымящихся пепелищах, но Павел Алеппский не устает удивляться:

«Умы наши поражались изумлением при виде огромного множества детей всех возрастов, которые сыпались как песок. Мы заметили в этом благословенном народе набожность, богобоязненность и благочестие, приводящий ум в изумление. <...> Как мы заметили, в этой стране, то есть у казаков, есть бесчисленное множество вдов и сирот, ибо со времени появления гетмана Хмеля и до настоящей поры не прекращались страшные войны... Число грамотных особенно увеличилось со времени появления Хмеля (дай Бог ему долго жить!), который освободил эти страны и избавил эти миллионы бесчисленных православных от ига врагов веры, проклятых ляхов. А почему я называю их проклятыми? — вопрошает антиохийский путешественник. — Потому, что они выказали себя гнуснее и злее, чем лживые идолопоклонники, мучая своих христиан, думая этим уничтожить самое имя православных. <...> Ты увидишь, читатель, в доме каждого человека по десяти и более детей с белыми волосами на голове, за большую белизну мы называли их старцами. Они погодки и идут лесенкой один за другим, что еще больше увеличивало наше удивление. Дети выходили из домов посмотреть на нас, но больше мы на них любовались: ты увидел бы, что большой стоит с краю, подле него пониже на пядень, и так все ниже и ниже до самого маленького с другого края. Да будет благословен их творец! Что нам сказать об этом благословенном народе? Из них убиты в эти годы во время походов сотни тысяч, и татары забрали их в плен тысячи; моровой язвы они прежде не ведали, но в эти годы она появилась у них, унеся из них сотни тысяч в сады блаженства. При всем том они многочисленны, как муравьи, и бессчетнее звезд. Подумаешь, что женщина у них бывает беременна и родит три, четыре раза в год и всякий раз по три, по четыре [младенца] вместе. Но вернее то,

как нам говорили, что в этой стране нет ни одной женщины бесплодной. Это дело очевидное, для всякого несомненное и испытанное».

Я задумался надолго над этими словами человека, который воочию лицезрел тех малых детей, которые к этому дню стали нашими далекими предками и чуть ли не библейскими праотцами. Они родились в отчаянных обстоятельствах, когда земля Южной Русидо черноты напитывалась кровью братских народов, русского и польского, разделенного сатанинскими силами и образом веры, историческое единство которых общая, славная победами, недавняя история принесены были на ненасытный алтарь человеческой гордыни, — как тут мне снова не вспомнить слова «апостола единения» Иосафата Кунцевича: «Дай ми, Господи, достойному быти за унию святую и за послушенства столицы апостольское кровь мою пролити...» (цитирую это по рукописи: Processus in causa Beatificationis et Canonisationis Servi Dei Iozaphat Koncewicz, Archiepiscopi Polocensis, expeclitus An. 1637). Дети, будущее этой земли, смотрели чистыми, доверчивыми глазенками на любопытствующего антиохийца, и он передавал через века и века свое изумление нам, сегодняшним. Ни от бывлой Руси-Украины, ни от архи-диакона Павла Алеппского, ни от Антиохийского патриарха Макария, ни от тех детишек, встретившихся им по пути за подаванием в московскую землю, не осталось следа. Кроме как здесь, на этих страницах архидиаконского рукописания. Я будто бы стоял рядом с ним и видел этих детей, будущее Руси-Украины, частью которого я и сам стал по воле судьбы. Я ощущал дыхание времени, вдыхал в себя горький дым отдаленных пожаров и сырой запах крови — эти дети уже лишились отцов, сложивших головы за прозрачные и так никогда не достигнутые вольности и свободы, им предстояло жить долгие десятилетия во времени, которое здесь назовут Руиной, а в Польше Потопом, — кто и как переживет это нынешнее сиротство и будущие тяжелые времена?.. Но ныне это мгновение тщанием архидиакона Павла Алеппского замерло в истлевшем ворохе дней, месяцев, лет и застыло в памятном слове, как в капле доисторической смолы застывало на тысячелетие малое насекомое... Помолитесь же, давние дети, и о нас, грешных и недостойных наследниках ваших, и о нынешней смуте, переживаемой нашим отечеством, Украиной!..

Южная Русь навсегда уплыла из-под власти польских правителей. Но принесло ли это глобальное геополитическое событие мир, покой и стабильность как в осиротевшую, ополовиненную Речь Посполитую, так и в Южную Русь, отправившуюся в новое, до срока неизвестное политическое путешествие? Фантомные боли по утраченным территориям, кажется, до сих пор терзают Польшу, а что было тогда, невозможно даже представить.

К слову надо заметить, что Москва несколько лет колебалась в окончательном решении о протекторате над польской окраиной — Украиной. Если отказы на подобные просьбы в 1620-х годах, исходившие от гетмана Сагайдачного и митрополита Иова Борецкого, можно было еще объяснить неустойчивым материальным и политическим положением москвитов после недавней Смуты, а также молодостью и неопытностью царя Михаила Романова, то к 1650-м годам Московское царство окрепло и закалилось в спорадических войнах, государство после смерти отца возглавил молодой и решительный царь Алексей Михайлович с незаменимым советником своим великим патриархом Никоном, — но Богдана Хмельницкого при всем этом томили неопределенностью не день и не два, а целых шесть лет. Еще 8 июня 1648 года Хмельницкий отправил московскому царю письмо с просьбой о покровительстве и изъявил готовность отложиться от Речи Посполитой со всем народом и землями. Однако о желании запорожцев перейти в московское подданство было объявлено только на Земском соборе 1651 года. Находясь в совершенно критических обстоятельствах, осенью 1653 года Хмельницкий снова обратился к Русскому царству за протекторатом. И 1 октября 1653 года в Москве специально по этому поводу был собран Земский собор, оказавшийся последним в истории России, на котором было окончательно решено: быть по сему. Защита единоверцев и Божьих церквей — вот лейтмотив постановления Земского собора и истинная причина «воссоединения Украины с Россией»:

«А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные христианские веры и святых Божиих церквей, потому что пань, рада и вся Речь Посполитая на православную христианскую веру и на святые Божию церкви восстали и хотят их искоренить...»

В тексте постановления православное вероисповедание и храмы поминаются семь раз, из чего можно сделать вывод о насущном приоритете целостности и чистоты веры, столь для Москвы важной, угрожаемой вот уже на протяжении 60 лет после Брестского собора 1596 года. И заключительные слова документа звучат приговором:

«...Ион, Ян Казимер, твое своей присяги не здержал, и на православную христианскую веру греческого закона восстал, и церкви Божии многие разорил, а в ьных унию учинил. И чтоб их не отпустить в подданство турецкому салтану или крымскому хану, потому что они стали ныне присягою королевскою вольные люди. И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять...»

Может быть, и были какие-то экономические обоснования этого беспрецедентного по масштабам геополитического акта, на века изменившего карту тогдашнего мира, может быть, угроза неминуемого затяжного военного конфликта с Речью Посполитой из-за положительного ответа на вопрошания и просьбы гетмана Богдана Хмельницкого удерживало столько лет Боярскую думу в Москве от безотлагательной помощи уничтожаемому нещадно в соседней державе единоверному и единокровному народу, — ведь сделав такой шаг Московская Русь обрекла себя на многолетнюю войну, принесшую вовсе не прибыль, но значительные военные издержки и трату собственного народа.

Южная Русь во всех смыслах была сомнительным приобретением: от правого берега Днепра до Днестра лежала сущая пустыня, где на протяжении полувека после всех этих событий по международным договорам между Россией, Польшей и Турцией запрещено было жить кому бы то ни было, т.е. земли эти признавались нейтральными, не принадлежащими никому; на левом берегу, сразу за Кременчугом, вниз по течению Днепра начиналась другая пустыня, Дикое поле, где хозяйничали крымчаки, добывая ясиря для невольничьих рынков; разве что на укрепленных днепровских островах за порогами жил воинственный вооруженный народ, простирая владельческую руку на земли и реки от Кременчуга на севере и до Перекопа на юге, но запорожцы известны были московским царям своим непостоянством, буйством нрава, переменчивостью суждений и настроений. Да и только что закончившаяся в Речи Посполитой гражданская война еще более закалила и ожесточила характеры тех, кто в ней участвовал. Властители Речи Посполитой веками пытались козаков усмирить, превратить если не в простых посполитых, то хотя бы придать им вид регулярного наемного войска — мудрили с реестрами, с привилегиями, угощали пряниками и стегали кнутом, рубили непокорные головы, запирали Кодацкой крепостью свободный проход в Сечь с коренных малороссийских земель и всячески ограничивали договорами, военным принуждением, уничтожением маломерного флота, показательными жестокими казнями... Дабы не провоцировать очередную войну с турецким султаном, короли и коронные гетманы строго-настрога запрещали военные набеги на Крым и другие вассальные княжества — Трансильванию, Валахию и Молдавию, но запорожцы поступали так, как считали нужным: разрушили крепость Кодак, изрубив гарнизон, и ходили на «чайках» жечь прибрежные аулы и отбивать славянских невольников. Подвиги их иногда попросту были беспримечными: турецкие султаны выходили из себя, видя под окнами своих сералей на Босфоре черные суденышки с козаками, выкрикивающими оскорбления в их адрес... А ведь суденышки запорожцев предназначались вовсе не для пересечения моря, но для рек...

Теперь все эти проблемы становились проблемами москвитов. Тут еще надобно принять во внимание и существенную разницу как бытового, так и государственного укладов двух государств. Если Речь Посполитая, по сути, была основана на своеобразно понимаемой демократии: выборность короля, неотъемлемое право шляхты на *рокош*, т.е. на законное восстание против тех или иных королевских постановлений и решений, сеймовая борьба и знаменитое право *Liberum veto* — основной принцип парламентского устройства в Речи Посполитой, который позволял любому депутату сейма прекратить обсуждение вопроса в сейме и работу сейма вообще, выступив против, то в Московской Руси все это попросту было невымыслимо из-за жесткой централизации власти и беспрекословного, по крайней мере внешнего, подчинения самодержцу. Царево слово — закон. В общем, можно сказать, что тогдашняя «шляхетская демократия» и общее шатание польских дворян и магнатов в конце концов и погубили Речь Посполитую как государство: каждый пан тянул в свою сторону. Московская же Русь, имея непоколебимый центр тяжести, только укреплялась и расширялась во все стороны света, со временем окончательно — по крайней мере почти на полтора века — проглотив ту часть Польши, которая досталась ей в 1795 году в результате третьего раздела между Россией, Австрией и Пруссией. Демократия, подобная сеймовой, но своеобразно заточенная, была и на Запорожье: неугодные гетманы и кошевые атаманы смещались с легкостью необыкновенной, иногда принимая даже «казнь на горло» или будучи «посажены в воду», т.е. просто утоплены в Днепре. Вероятно, в ту пору еще оставались в Москве живые свидетели жарких боев козаков Сагайдачного с московскими ратниками близ Арбатских ворот в 1618 году, да и в засечных городах, разоренных в тот памятный год запорожцами, их

не забыли, но города отстроились снова, заселились новой человеческой порослью, затянулось дымкой забвения недавнее-давнее прошлое, — и вот когдатошние врагизорители ныне становились согражданами...

Но за все это еще предстояло Москве воевать. Так и началась очередная по счету русско-польская война, продлившаяся 13 лет, с 1654 года по 1667, результатом которой снова стали неисчислимые людские потери обеих сторон, утрата Речью Посполитой не только Южной Руси, но и других территорий со множеством городов, включая стратегически важный Смоленск, вековое яблоко раздора между государствами, и практически всех завоеваний времен Смутного времени и «золотого века» польской державы. Чтобы не говорить долго о человеческих жертвах, тут можно упомянуть для показательного примера одну только Вильну, столицу Великого княжества Литовского. Вот что было при падении города 31 июля 1655 года: «Разграбление и пожары в городе продолжались несколько дней, по разным оценкам исследователей погибло до 25 тысяч человек», — довольно бесстрастно сообщает статья в Википедии.

И подобными данными просто пестрят страницы как старых летописей и хроник, так и новых исследований. Так современный белорусский историк Геннадий Саганович, ссылаясь на работы Юзефа Моржи и Василя Мелешки, в своей книге «Невядомая вайна: 1654-1667» с некоей осторожностью делает вывод, что в результате войны население современной Белоруссии уменьшилось вдвое по сравнению с ситуацией на 1648 год... Но эти выводы все же довольно сомнительны, в силу своей идеологической составляющей: вроде как дикие московские орды вторглись в мирное Великое княжество Литовское и порубили в капусту ни в чем неповинный народ?.. Эти выводы, понятное дело, оспорили российские специалисты, а сам Геннадий Саганович, якобы преследуемый диктатором Лукашенко, еще в 2005 году перебрался в Вильнюс и угнезвился там преподавать историю в частном Европейском гуманитарном университете, существующем на гранты Сороса. Впрочем, историк нынче и сам сомневается в собственных подсчетах убыли населения, даже просит официально не ссылаться на его «Невядомую вайну: 1654-1667».

— Что ты и делаешь? — как заметила моя неутомная Лика. Но она все-таки не понимает, что поминаю я Сагановича ради полноты картины, не более.

Так что московский царь Алексей Михайлович получил не только полномасштабную и долгую по времени войну с Речью Посполитой, истощившую к Андрусовскому перемирию 30 января (9 февраля) 1667 государственную казну и человеческие ресурсы, но и получил горькие и многочисленные уроки от свободолюбивой малороссийской старшины. Переяславскими договоренностями 1654 года отнюдь ничего не заканчивалось, но только лишь начиналось. Южнорусское общество опять разделилось: одни безоговорочно поддержали переход под державную руку Московского царства, другие все еще питали иллюзии по поводу того, что с панами можно будет все-таки договориться о тех же войсковых реестрах, послаблении в отправлении богослужебных обрядов, уравнивании в правах, привилегиях и всем таком прочем. Да и вековая привычка пребывать под сенью белого орла, думаю, все еще никуда не девалась. Тут надо также отметить, что даже в Переяславле на исторической раде не было такого монолитного единодушия, как нам то преподносили советские историографы: часть мещан Переяславля, Киева и Чернобыля были насильно принуждены к присяге козаками. Против присяги Москве были отдельные паланки Брацлавского, Уманского, Полтавского и Кропивнянского полков. До сих пор неизвестно, присягала ли Запорожская Сечь, — и это совсем удивительно. Как такое судьбоносное событие могло пройти мимо воли и соборного разума запорожцев?.. Как это ни странно, но и высшее православное духовенство в Киеве отказалось присягать Москве и переходить под омофор патриарха Московского Никона, — а ведь одной из главных причин принятия Южной Руси со всем православным народом и городами на Земском соборе 1653 года как раз была забота оградить церкви Божии и православных русинов от притеснений католиков и униатов. Как же так?.. Может быть, иерархи, будучи более образованными и культурными, нежели основная масса «черного люда» и козаков, вкусившие если и не сполна, то хотя бы отчасти, прелестей и особицы знаменитого образования иезуитов в школах, коллегиях и университетах, проникательно понимали и чувствовали сложности и опасности предстоявшей интеграции малороссиан и своей церкви в совершенно другое сообщество разных народов, о которых они и слыхом не слыхивали, населявших Московское царство, устроенное в минувших обстоятельствах и испытаниях совсем на других принципах, а может быть, до Киева доходили смутные слухи о волевом, крепком духом и силою патриархе Никоне, который на равных с царем управлял государством. И потому предпочтительнее был для епископов, вероятно, далекий Константинопольский патриарх, имевший над Южной Русью номинальную, символическую власть, запертый османами в крошечном стамбульском квартале, живущем на подаяния из Киева и из той же Москвы. Или, может быть,

врожденная южнорусская недоверчивость к каким бы то ни было переменам, изменениям, инициативам присуща была иерархам? Сегодня уже этого не понять и на вопросы эти вразумительно не ответить. Но довольно скоро московские воеводы и самодержец столкнулись с реальными проявлениями этого подспудного разделения общества и, шире скажу, малороссийского менталитета: едва Хмельницкий ушел в мир иной, как тут же Иван Выговский, избранный гетманом Войска Запорожского, пытался переписать историю заново и войти в одну реку дважды. В 1658 году война, казалось, уже закончилась и в Вильне проходили переговоры между Россией и Речью Посполитой, целью которых было подписание мирного соглашения и межевание границ между государствами. Но Выговский, в тайне от переговоров-москвитов, заключил с поляками Гадячский договор, согласно которому Гетманщина, в которую уже была преобразована Русь-Украина, возвращалась в состав Речи Посполитой в качестве федеративной единицы. Это знаменательное событие перечеркнуло все наметившиеся договоренности и позволило Речи Посполитой возобновить войну за «собственные территории». Московские войска были вынуждены отступить за Днепр, а русские гарнизоны в литовских городах были осаждены или блокированы литовскими отрядами. Выговский со своим братом трижды осаждал Киев, но город устоял, значительно уступая по количеству защитников. Впечатляет и численность войска Выговского под Киевом во второй раз — 50 тысяч козаков и 6 тысяч татар. У Выговского все же была победа над москвитами, прежде старательно замалчиваемая, а сегодня, в независимой Украине, добытая из пыльных схронов архивного знания и широко отмечаемая в виду недавнего 350-летия с даты события. В несчастливой битве под Конотопом московское войско и крупный отряд запорожцев были наголову разбиты козаками Выговского и крымчаками:

«Всего на конотопском на большом бою и на отводе: полку боярина и воеводы князя Алексея Никитича Трубецкого с товарищи московского чину, городовых дворян и детей боярских, и новокрещенов мурз и татар, и казаков, и рейтарского строю начальных людей и рейтар, драгунов, солдатов и стрельцов побито и в полон поймано 4761 человек».

Без изощренных жестокостей с дальним прицелом дело тоже не обошлось: по словам Наима Челеби, первоначально русских пленных хотели отпустить за выкуп, по обычной практике того времени, что было отвергнуто «дальновидными и опытными татарами»: мы «...должны употребить все старания, чтобы укрепить вражду между русскими и козаками и совершенно преградить им путь к примирению; мы должны, не мечтая о богатстве, решиться перерезать их всех... Перед палатой ханской отрубили головы всем значительным пленникам, после чего и каждый воин порознь предал мечу доставшихся на его долю пленников».

В 1999 году Почтой Украины выпущена памятная марка, посвященная Выговскому и Конотопской победе.

Иван Выговский, по сути, возобновил на Руси-Украине гражданскую войну, но если прежде, в событиях 1648-54 годов, война была между господами-поляками и угнетенным русским народом (обобщая, конечно же, не вдаваясь в существенные подробности), то теперь, используя разделившиеся чувства и мнения относительно Переяславских договоренностей с Москвой, война становилась гражданской. Религиозная составляющая отступила на второй план, хотя все-таки и прозвучало обычное требование о ликвидации Брестской унии, но главным в Гадячских статьях было все-таки четкое обозначение политических целей Выговского: равноправная федерация в триедином государстве Речи Посполитой — Великого княжества Русского, Великого княжества Литовского и Польского королевства. Себе же Выговский усваивал титул «великого гетмана княжества Русского». При всем этом польской шляхте и католической церкви возвращалось отнятое козаками имущество, а изгнанным в годы Хмельниччины полякам разрешалось вернуться на свои земли. Девятый пункт выглядел особенно знаменательно: «Случившееся при Хмельницком предастся вечному забвению». «За что же мы воевали и проливали кровь?!..» — впору было воскликнуть старым сподвижникам и ветеранам почившего гетмана. По сути дела, Выговским предлагалась новая политическая реальность, которая могла бы при известном раскладе даже гальванизировать «живого мертвеца», Речь Посполитую, раздираемую с двух сторон Швецией и Москвой, — недаром же та эпоха получила красноречивое наименование Потопа — в Польше и Руины — в Южной Руси-Украине, — и дело оставалось за малым — решить, одобрить, принять, хотя бы попытаться что-то сделать реальное... Но нет... И спустя 200, и 300 лет поляки будут только мечтать о подобном геополитическом реванше, но тогда... Тогда сейм попросту отклонил Гадячский договор: гордыня и раздутое самомнение о самих себе, любимых и незаменимых, ослепило панов, — война Хмельницкого, и потеря южнорусских земель, и военные потери как людей, так и имущества ничему их не научили: хлоп

должен работать на нас, а не заседать равночестно с нами на сеймовой лавице! *nie rozwolę!* Таковым убогим и недальновидным было тогдашнее понимание шляхетской демократии. Да и папский престол был категорически против каких бы то ни было послаблений православному люду и его церкви. Это в середине 19 века, когда от польской государственности останется одно только воспоминание, польские поэты будут лить крокодиловы слезы о минувшем «золотом веке», когда они вместе с запорожскими «рыцарями» укрепляли и расширяли во все концы света возлюбленную отчизну, Речь Посполитую:

*«Бог — мир — славянство — Польша — Украина —
В пять струн моих гуслей пятиструнные звуки»*
(Юзеф Богдан Залесский)

Вторил ему и украинский кобзарь, потомок гайдамаков, беспощадных палачей и убийц ксендзов, панов и евреев времен Колиивщины:

*«Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами...»*

«Великое княжество Русское» — неслыханное и немислимое даже названием, не говоря уж о том, чтобы воплотить эту идею в жизнь, провести какие-то законодательные и политические реформы. Нет! Еще раз — нет: *nie rozwolę!* Не дадим никакой автономии, никаких прав! Быдло! Черная кость! На кол! На шибенницу!.. — и все в таком духе кричали на сейме паны. Ну, конечно, — честь, понятая таким образом, — превыше всего, кто же спорит. Кажется, они даже не понимали, что в Вильне и в Ковно, главных городах-крепостях Великого княжества Литовского, давно стоят московские войска, что Смоленск потерян, что вся Белая Русь взята под контроль стрелецкими полками Алексея Михайловича, и только что, всего три года назад Южная Русь, все Поднепровье с селами и городами откололись от Речи Посполитой, а вся Польша еще в 1655 году оккупирована шведами, польский же король позорно бежал в Силезию, шляхта разделилась между верными королю Яну Казимиру Вазе и теми, кто принес присягу шведскому королю Карлу X Густаву... О помрачении рассудка значных польских панов свидетельствуют вот такие сообщения, выхваченные мною наугад из военных хроник Потопа:

«2 сентября в битве под Соботой шведская армия под предводительством короля Карла X Густава, Г. Стенбока и Магнуса Делагарди нанесла поражение польско-шляхетскому войску. В сражении отличилась польская кавалерия великого коронного хорунжего Александра Конецпольского, действовавшая на стороне шведов...»

Добавить тут нечего. Но при всем этом — категорическое отрицание самой идеи о триединой Речи Посполитой... А ведь царь обещал и широкую автономию, и самоуправление, и невероятный по численности войсковой реестр... Было о чем козакам и посполитым задуматься. И вот к сентябрю 1659 года, всего через два месяца после, казалось бы, славной победы под Конотопом, против гетмана начинаются восстания козаков. Выговский отвечает казнями. Переяславский полковник Тимофей Цецюра, принесший в числе других присягу царю после битвы под Конотопом, рассказывал, что полковники и козаки боялись «изменника Ивашки Выговского, что он многих полковников, которые не похотели послушать, велел посечь, а иных рострелял и вешал, а многих казаков з женами и з детьми отдал в Крым татаром». Священник Василий сообщал, что «многих гетман казнит, кто помыслит на государеву сторону и (тех) розстреливает». Бежавшие из Нежина из войск Выговского козаки Воценок и Семенов рассказывали, что, «видя де Выговского неправду, отобралось их пять корогвей, и хотели они от него отстать и служить великому государю... и сведав де то, Выговский велел тех людей порубить, а ушло де их толко 50 человек».

Неприятие Выговского и его политических прожектов выразилось в том, что не только польский сейм, но козацкая масса и малороссийское посольство совершенно не поддержали его начинаний, — и Речь Посполитая практически была обречена на уничтожение. То, что обломки ее со слабыми признаками государственности после Потопа кое-как просуществовали еще чуть более века, можно объяснить только чудом, промыслом Божиим и невнятной политикой русских царей и цариц эпохи дворцовых переворотов. Польша в начале следующего за Потопом столетия справедливо называлась «проходным двором Европы», и когда во время военных конфликтов той поры враждующим сторонам требовалось перебросить для тактических нужд крупные войсковые контингенты через польские земли, правительство в Варшаве даже не спрашивало о разрешении, и войска проходили там и так, как было удобно военачальникам, по пути фуражировались и кормились, а паны сидели в своих имениях и молились Матке Бозке Ченстоховской, чтобы чужестранцы поскорее оставили край. Такими плачевными были итоги Потопа и шляхетского гонора... Но потребовалось

еще три поколения, чтобы очнуться от летаргического сна и хотя бы затеять безуспешное и обреченное на поражение восстание Тадеуша Костюшко против Российской империи, а до того пережить два раздела и окончательную ликвидацию иллюзорного государства. Но все это было еще впереди.

Тогда же, всего через два месяца после победы под Конотопом авторитетные войсковые полковники и атаманы — кошевой Запорожского войска Иван Сирко, полковники нежинский Василий Золотаренко, киевский Иван Якимович, переяславский Тимофей Цецюра, черниговский Аникей Силич на раде в местечке Гармановцы под Киевом выдвинули кандидатуру нового гетмана, сына Богдана Юрия Хмельницкого, в надежде что славное имя и генетическое родство сделает текущую политику Гетманщины более вменяемой и внятной, без этих шатаний и невнятицы прежнего уряда. «И знамя, и булаву, и печать, и всякие дела войсковые у Выговского взяли и отдали Юрию». Знаменательно так же и то, что послы и сподвижники Выговского, подписавшие только недавно Гадячский договор, Сулима и Верещака, были просто зарублены... Таковым, по сути, и было отношение козаков к отступничеству, переменчивости и политическим инициативам бывшего гетмана. Выговский бежал в Польшу, но ни политики, ни войны не оставил, да и немисливо было в те времена смириться, засесть на хуторе в сердце степей и разводить пчел — не для того рождались и жили здесь люди, подобные Выговскому: пожар Руины и противостояние как межгосударственное, так и гражданское, не давало никаких поводов на тихую и безоблачную жизнь. Ну, и неутоленные честолюбивые амбиции, конечно же, тоже. Вскоре мы находим Выговского в отряде Анджея Потоцкого, где он воюет против Московского царства.

Но не прошло и года, как его примеру последовал и новоизбранный гетман... Славное имя отца и родство по крови отнюдь не стали для Юрия залогом верности Переяславским договоренностям. Тяжелое поражение войска боярина Шереметева под Чудновым осенью 1660 года и обусловлено было предательством Юрия Хмельницкого, который просто не оказал помощи осажденным, прежде замедлив с приходом. Выговский же, в свою очередь, попытался вновь отстранить от власти его и вернуть себе гетманство, но безуспешно. Поляки весьма недоверчиво относились как к его инициативам, так и к нему лично, и 16 марта 1664, заподозрив в очередной южнорусской интриге, — на этот раз против правобережного гетмана Павла Тетери, нещадно расправившегося с подвластным ему народом, тяготевшим к Москве, — Выговского без суда и следствия расстреляли. Каким-то образом нити восстания против Тетери тянулись к нему. Утраченное гетманство все бередило душу его, не давало покоя. Не спасли его и почетные должности — титул воеводы Киевского, пожалованный ему Речью Посполитой пожизненно, и звание сенатора.

Измена молодого Хмельницкого вызвала новый виток междуусобной войны и на какое-то время изменила военный расклад противостоящих сторон...

Руина, разруха, тотальная неразбериха, война всех со всеми, слом прежнего государственного устройства и туманные, непонятные перспективы вхождения в новые государственные и политические реалии, инерция прошлого и иллюзорные надежды на будущее — множество разнонаправленных причин и интенций колебали души и помрачали сознание тогдашних людей. Я тут не говорю о поляках, закостеневших в своих устрашающих предрассудках, покрытых коростой гордыни и самонения о мнимом нерушимом величии Речи Посполитой, которая погибала теперь по их же грехам и по их роковой слепоте. Я говорю о русинах, о козаках, о нарождающемся малороссийском войсковом дворянстве. Как словом единым определить соборную, скажем так, и основную черту их умонастроений?

Непостоянство и переменчивость? — мягко сказано. Предательство и измена? — не знаю, не слишком ли сильно и грубо. Да и как стричь весь южнорусский православный народ под одну гребенку? Ведь наряду с предательством и переменчивостью рассуждения о сиюминутных выгодах козацкой властной верхушки мы знаем и примеры твердости, верности слову присяги. В конце концов и в самых общих чертах русский народ остался верен духу и букве Переяславля, о чем свидетельствует и многовековая последующая история пребывания Руси-Украины в едином державном пространстве с Россией.

Ну, вот следует ради показательного примера неверности и ненадежности тогдашних войсковых предводителей рассмотреть пристальнее фигуру переяславского полковника Тимофея Цецюры. Неизвестно, приносил ли он в 1654 году присягу московскому царю на Переяславской раде, — скорее всего, приносил в числе прочих собравшихся там. Но в 1658 году при заключении известного Гадячского договора, по которому Выговский со всем войском и ошметками Гетманщины перешел обратно к полякам, Цецюра уже числился полковником переяславским и был рьяным сторонником гетмана. Так, к примеру, 29 декабря 1658 года он начальствовал вместе

с наказным гетманом Скоробогатенком и поляком Грушей над верными Выговскому татарами и козацкими полками — Каневским, Черкасским, Чигиринским и Корсунским в бою у Лохвицы с князем Ромодановским, — выговцы были отбиты. При всем этом Цецюра прекрасно был осведомлен о настроениях козаков Переяславля и об их категорическом неприятии не только идеи о возвращении всей Руси-Украины под омофор Речи Посполитой, но даже предложений о триединой державе и прочем, о чем я уже поминал. И вот уже вскоре после Конотопской виктории, ныне радостно отмечаемой в киевских средствах массовой информации, находим его уже сторонником Алексея Михайловича и отнюдь не пассивным — он казнил тех из старшин, которые противились его предложениям перейти снова к Москве. Полковник после этих расправ отправил гонца в пограничный Путивль к начальствовавшему тогда над московским войском князю Трубецкому с известием, что враги царя перебиты, и с просьбой как можно скорее прибыть в Переяславль. При этом въезд Трубецкого в город был обставлен с невероятной пышностью, стрельбой из всех пушек, колокольным звоном и прочими знаками внимания и почета. Во всех этих действиях, впрочем, Цецюра руководила не столько декларируемая преданность Москве, сколько желание самому достичь гетманства — так, по крайней мере, предполагает летопись Самовидца. В начале 1660 года он ездил в посольстве в Москву, вероятно, для заявления своей преданности царю и 1 марта удостоился даже невероятной чести — приглашения к «столу государеву».

Тем временем царь затеял грандиозный план по поводу окончательного решения «польского вопроса», в результате осуществления которого должны были пасть Львов, Варшава и Краков, конечной же целью похода объявлялось пленение короля Яна II Казимира Вазы и доставка его в Москву. Многотысячная армия князя Василия Борисовича Шереметева двинулась вскоре осуществлять этот дерзновенный проект. Предполагалось, что по пути к Шереметеву присоединится войско гетмана Юрия Хмельницкого. Переяславские козаки числом 2000 человек уже были в деле. Над ними наказным гетманом начальствовал Тимофей Цецюра. Он же, стремясь польстить славному и выдающемуся воеводе, говорил, что столь сильному русскому войску и с таким опытным командиром стоит только двинуться вперед — и поляки в страхе разбегутся. «Мы всю Польшу завоюем и короля с королевой в полон возьмем!» — самонадеянно обещал он. Обсуждался вопрос, каким образом начинать эту — Шереметевскую, как ее называют в Польше, — войну: дожидаться ли Юрия Хмельницкого или же уже отправляться в поход и наступать. Мнения тут разделились. Николай Костомаров в труде «Преемники Богдана Хмельницкого» сообщает, что воевода князь Козловский, находившийся в Умани и лучше других знающий обстановку, предлагал стать гарнизонами в укрепленных городах и ждать не только подхода Хмельницкого, но и поляков, чтобы измотать их в бесполезных штурмах, заставить голодать, а потом и разбить. Кроме того, он подчеркивал еще одну причину, по которой не стоит рисковать с выдвижением вглубь Речи Посполитой:

«Верность козацкая не крепка и тверда; она вертится в разные стороны. К какому государю не обращались козаки? Кому не подавались и не изменяли! Турку кланялись, татары ими недовольны, Ракочи через их измену в Польше потерпел, да и шведу не очень-то корыстно отозвалась гружба с ними. И наш великий государь... узнал уже, что значит их гибкая верность»...

Но нет, до конца еще не узнал...

Поляки тем временем напрягли все свои силы, ведь речь уже шла о воистину последней для Польши войне, и в посполитое рушенье защищать родину отправилась практически вся шляхта как из ближних, так и из дальних воеводств, с челядью, с надворными козацкими отрядами. И удача в этот раз сопутствовала им. Шереметев был сперва остановлен вооруженной рукой, а затем начал отступление к предполагаемому месту соединения с козаками Хмельницкого, без воспомоществования которых обойтись уже было нельзя. В конце концов под Чудновым войска его были окончательно окружены неприятелем, и, как писал епископ Николай Свирский, «в течение почти 60 дней 200 тысяч людей четырех наций (поляки, татары, московиты и козаки) сражались почти каждый день, каждый час». Московские люди показали невероятные боевые качества: по свидетельству польских историков, «день 4 (14) октября, был самый ужасный, самый кровопролитный из всех доселе бывших. Подобного ему уже не было и не будет... Московиты сражались с крайним отчаянием. Старые польские солдаты, участники многих кровопролитных битв, говорили, что в таком адском огне они еще не бывали. Они сравнивали поле битвы с огненной кипящей рекой». Но отвага в крайних обстоятельствах не изменила хода кампании. Армией Яна Собеского отсечена была подмога из Киева, которую пытался оказать Шереметеву князь Юрий Барятинский с подгребтысячным отрядом. Юрий Хмельницкий же по непонятным причинам замедлил продвижение своего войска к Чуднову. Попав в Слободищах,

неподалеку от Чуднова, в свой первый бой, молодой гетман совсем потерялся: метался по лагерю, схватившись за голову, и кричал, что готов отказаться от гетманства и постричься в чернецы... В конце концов он вместе со всем своим войском, которого, как воздуха, не хватало Шереметеву, перешел на сторону поляков и заключил соглашение, подобное Гадячскому, но уже без притязания на козацкую автономию. Прослышав об этом, наказной гетман Цецюра с двумя тысячами козаков оставил Шереметева окончательно погибать и бежал. «Що, — по замечанию летописца, — не без шкоды казаков было, бо иных татаре пошарпали, а иных и в неволю побрали». Вот так и бывает обычно — весной козак пирует за царским столом в Московском кремле и провозглашает здравицы за царя, царицу и царских детей, клянется в верности и решительными словами угрожает лютым недругам-ворогам, а спустя полгода предаст своего сюзерена, обрекая на гибель тысячи недавних сподвижников, оставшихся верными слову присяги. Эта-то измена и была, по всей вероятности, поставлена ему в вину и послужила причиной ссылки в Сибирь, когда Цецюра снова оказался в достижении длинной «руки Москвы». Удивительна и мягкость наказания для него за измену, в результате которой только погибло 2000 московских стрельцов, а 8000 во главе с воеводами Шереметевым и Козловским на долгие годы оказались в Крыму. Так князь Шереметев провел в неволе 21 год, и татары даже за щедрое вознаграждение в 25 тысяч рублей не соглашались отдавать воеводу. Сохранилась челобитная Цецюры к государю из Томска от 20 августа 1667 года, в которой он говорит о том, что служил государям «верою и правдою» 13 лет, «изменника Ивашку Выговского из Малыя России выгнал и, всю Малую Россию очистивши, с войском Запороским под государеву царскую высокую руку подвел». Тут же он откровенно сознается и в своем «грехе» под Чудновым и просит простить его и перевести его на жительство в Москву. Решения по этой челобитной не сохранилось, и стал ли он «москвичом», не знает никто. Дальнейшая судьба полковника Цецюры неведома.

Шереметева выкупили из Крыма за огромные деньги, и он с почетом вернулся в Москву, где вскоре умер. Отпевал его патриарх Иоаким.

В 2001 году память Юрия Хмельницкого тоже почтили почтовой маркой.

Если постараться, то можно собрать неплохую коллекцию под общим названием «Вера и правда украинских гетманов». Надо только классер для марок купить.

Глава 18. «JESUS CHRIST SUPERSTAR» И ЖИЗНЬ БЕЗ ГАЛЮНИ

Так и мелькали наши дни в Киеве — пестрые, веселые, горькие, шумные и одинокие, исполненные лекциями в университете, просиживанием штанов в библиотеках, пристальными размышлениями о непреложных уроках минувшего, как советской поры с разлитым коммунизмом, так и давней, вроде бы славной эпохи козацких войн против когдатошних моих предков, граждан сгинувшей в веках Речи Посполитой, — прогулками по киевским бульварам и улицам, — прежде с Галюней, а то и с Бовой, позже с Максимом Добровольским, с Люськой Ушаковой — в нескончаемых разговорах, в неконтролируемом потреблении дешевого алкоголя, со спорадическими ночевками в полуподвальных мастерских знакомых художников и фотографов, с таким же спорадическими встречами со случайными девчонками, искательницами судьбы и успеха в этой рулетке жизни блистательного столичного города. Мы верили, что все еще нас ждет впереди, и потому начинавшийся и заканчивавшийся невдалеке день не казался мне чем-то значительным или важным, — о, рассеявшееся паром упование молодости!.. До поры гибельные провалы минувшего были погребены под толстыми наслоениями забвения и беспамятства, — да и в самом деле: зачем было париться над хрониками и летописями или медитировать над археологическими раскопками фундаментов Десятинной церкви?.. Жить, надо жить — зудел над ухом на Борщаговке парубок Бова из славных надднепровских Недогарок, раб своего тайного уда и покоритель доверчивых к доброму слову девичьих сердец на Крещатике. Да и без его настырных увещеваний поднималась во мне какая-то мутная взвесь, и невесть чего мне хотелось, невесть что мнилось и чудилось, о чем-то несказанном сожалелось, — но о чем? Ничего ведь и не было еще со мной, — даже Галюня из Беликов, — разве любил я ее? Или она любила меня? Разве что-то было между нами, кроме взаимного дружеского расположения и привычки бродить вместе по городу, где мы были и остались всего лишь гостями? Я даже тогда затруднялся как-то определить природу глубинной неудовлетворенности собственной жизнью, природу своей неприкаянности, которые время от времени снедали меня, мою душу. Мое тело безотносительно к ней пребывало в относительной беспечности молодости и безоглядности — ничего не болело, не на чем было пристальное внимание заострить или от чего-то там поберечься; я мог бесконечно пьянствовать в подвалах художников или в общаге со старшекурсниками, потребляя сущее пойло, которое под видом вина продавалось в тогдашних киевских

гастрономах, курить анашу, сутками напролет расписывать «пулю», дилетантствовать об искусстве, разглядывая то, что рисовали наши нонконформисты-художники вроде Шерстюка и Гетона, или разбирая эзотерические тексты доморощенных философов вроде Игоря Винова, мог рассуждать о джаз-роке «Weather Report» или о музыкальных открытиях виртуозов «Mahavishnu Orchestra», памятью околмузыкальные разговоры с Сероштаном на берегу нашей Ворсклы, я мог бесконечно слушать удивительные гитарные и смысловые переложения Максима Добровольского и наслаждаться удивительной украинской прозой Володи Дибровы, — мог делать, читать, понимать еще тысячи микроскопических дел и движений, из которых по видимости и слагалась наша текущая жизнь, наше образование, наше становление, жизненная позиция и все прочее, зыбкое и иллюзорное, что, по слову Писания, подобно утренней росе, и вот солнце восходит, и роса высыхает... Но даже недавнее прошлое, только что зарывшееся оскаленной и окровавленной мордой в обманчивое забытие, было так близко — только протяни руку и тут же наткнешься на не застывшую еще кровь. Взять хотя бы того же Максима, — он ведь родился на Колыме через 9 месяцев после того, как Сталин нежданно-негаданно для всего советского подневольного люда отправился на суд Божий, — и отца его, Аркадия Добровольского, писателя и сценариста знаменитых «Трактористов», кинофильма 1936 года, близкого друга Варлама Шаламова, выпустили из лагерей, где он пребывал с 1937. Парадоксы эпохи: фильм получил Сталинскую премию, вошел в «золотой фонд» кинематографических достижений социализма, а создатель его, чье имя было вымарано как из титров, так и из жизни, сквозь слепое окошко столыпинского вагона, в котором его везли на далекую Колыму, видел на полуканках афиши своего триумфального фильма... Там же, в единственной на всю Магаданскую область больнице для заключенных, в Ягодном, санитаркой-лаборанткой трудилась и мама Максима, только что выпущенная из узилища лагерница, где оказалась по доносу одноклассницы и односельчанки «за коллаборационизм» в 1945 году. В чем там уж ее коллаборационизм заключался, остается только догадываться. Подала ковш воды немецкому пехотинцу? Или зашила порванные штаны?... Когда забальзамированную мумию великого кормчего положили рядом с Лениным, на Колыме, на поселении у бывших «врагов народа» и родился друг наш Максим, пронесший сквозь все десятилетия своей жизни тот незабываемый опыт и призрачный свет из первого детства. Это потом, в южном, щедром природой и климатом Киеве, он перелгал все эти замечательные музыкальные хиты нашей юности на украинский язык, веселился душой и телом в оживленном интеллектуальном общении, но вместе с тем крепко молчал о том сокровенном и тайном, что неизгладимой печатью, с рождения, существовало в душе у него. И только недавно раскрылся в глубоком и важном тексте, написанном им для сборника о Варламе Шаламове, а в пору нашего бродяжничества по киевским горам и долам, близ затворенных храмов, по туристической Лавре, в веселье Крещатика и постижении метафизических тайн музыкальных созвучий Стефана Микуса, Максим, сын колымских многолетних страдальцев-сидельцев, выживших чудом на севере и вернувшихся в коммунистический Киев, мог говорить о чем угодно и сколько угодно, но о Колыме, откуда его увезли в возрасте пяти лет, умел крепко молчать. Как? Почему? Каким образом? Будто сокровенное это — то, о чем лучше вовсе не поминать — он впитал в себя с молоком матери-зэчки или просто родился со всем этим жутким, потусторонним, невыразимым никаким словом в мирных, сонных, расслабленных временах поздней брежневщины. Уже позже я понял, что таковой же была и природа молчания моих родителей в Кобеляках и тети Каси в Кременчуге: ни слова о прошлом, ни слова о войне и о том, что произошло в Доминополе в отдаленном пространстве Вольни в 1945 году, — о дяде Нектонаполеоне Язловецком и о его подвиге — это пожалуйста, но более — ни о чем. Отец Максима умер в конце шестидесятых годов, отчасти, насколько это было возможно, возобновив свои литературные штудии: переводил Джона Апдайка, Голсуорси и других писателей с нескольких европейских языков на украинский, совместно с Линой Костенко, нашей замечательной поэтессой, написал сценарий для кинофильма, который так никогда и не сняли, но времени жизни уже не хватило ему...

Если бы кто-то и меня научил не трепать языком...

К чему я веду? Со временем, через несколько лет, отчасти прочлись по косвенным признакам, отчасти дошел я догадкой умишком своим, что за всеми нами — что в универе, что на Крещатике — был крепкий пригляд компетентных, так сказать, организаций. Ну, с Крещатиком как бы понятно: несознательная, асоциальная молодежь, во главу своей бестолковой жизни ставящая разноцветное фирменное барахло, иностранные песни и музыку с сопутствующим бесконтрольным потреблением пива с вином, — а с универом-то что? Как же — идеологический вуз, будущие преподаватели истории и обеих литератур — украинской и русской... Та шо такое, дороге товарищи?... А то, что — по слову Экклезиаста — «во многой мудрости много печали; и кто умножает

познания, умножает скорбь». Погружение в украинскую литературу, более глубокое и разветвленное, чем в школьной программе, некоторых наших студентов-филологов делало, так сказать, просвещенными, «свидомыми», или национально мыслящими, украинцами. Левобережье Днепра и правобережный Киев в целом разговаривали на русском, как считалось, языке, который, по сути своей, был суржигом, то есть некоей приграничной помесью русского и украинского языков с вкраплением одесского идиша или того, что там от него осталось со времени распада векового кагала и Второй мировой войны. Со «свидомостью», с обретением утраченной, задавленной, казалось бы, насмерть идеологическим прессом национальности молодой человек уже не удовлетворялся пением народных песен в застолье и гопаком после оного, но начинал думать и разговаривать по-украински, причем не на убогом суконном суржике Заднепровья, а на настоящем литературном, красивом языке полтавского извода, — погружение в филологию приносило плоды. Кто-то начинал и пробы пера по-украински, и все бы ничего, так сказать, если бы на том дело и заканчивалось, — но неумность молодости зачастую двигалась дальше: и вот уже извлекались из самиздата стихи Василя Стуса, умершего в заключении в глубинах ГУЛАГа совсем ведь недавно, рукописи и тонкие серые книжечки деятелей «расстрелянного возрождения» 1920-х годов, долетала до киевских улиц и эмигрантская литература «пражской школы», и литераторов «ди-пи», застрявших на Западе после военного лихолетья... Ну, и до политики там было рукой подать: рано или поздно вставали вопросы — как, почему и зачем?..

Какая польза стране советов была в расстреле только 3 ноября 1937 года Леся Курбаса, Николая Кулиша, Матвея Яворского, Владимира Чеховского, Валерьяна Подмогильного и других — числом свыше ста представителей украинской интеллигенции?.. Подарок любимому вождю к 20-летию революции? Может, оценит по достоинству наше местечковое НКВД?.. Кинет лишнюю «шпалу» в петлицу, а то, глядишь, орден на молодецкую грудь?..

Вот во всем этом ненужном и жутком знании, в этих безгласных вопросах, которые некому было даже адресовать, и заключался зародыш нашей будущей неблагонадежности, которую, по мнению надзорных органов, да и по существу, следовало контролировать до известной поры, ну а потом уже по ситуации поступать.

Как тут не помянуть мне старлея Логунова, командира нашей роты под Николаевом:

— Ты что, Маршалок, против советской власти? Все за, а ты один — против? Отправлю в дурдом, хай тебя там вылечат серой!..

А я ничего и не помню — что уж такого сказал, или сделал, или косо посмотрел на комсорга, или невпопад пошутил в Ленинской комнате... Но бдительный Логунов все засек и просек.

Или вот еще наткнулся недавно в сети. Некто Юрий Мальцев, попавший в больницу имени Кащенко в 1969 году за желание уехать в Италию, описывает тамошние невинные, но такие советские развлечения психов:

«Телевизор <...> находился в ремонте. Его заменяло другое развлечение: санитары извлекали из шкафа допотопный патефон и стопку старых заезженных пластинок. Одна пластинка была особенно интересна: воронежский хор исполнял браваурно патриотическую песню сороковых годов, и удивительным было то, что иголку всякий раз заедало на слове Сталин. Если мембрану не подтолкнуть рукой, то пластинка продолжала до бесконечности крутиться на одном месте, и хор гремел: «Сталин-Сталин-Сталин-Сталин-Сталин-Сталин-Сталин...» Эта пластинка служила источником своеобразного развлечения. Больные приглашали кого-нибудь из санитарок «послушать музыку» и заводили эту пластинку. Санитарка, послушав некоторое время это удручающе монотонное славословие мертвого вождя, наконец, не выдерживала и просила передвинуть иголку. «А-а-а! Нервы не выдержали! — ликовали больные. — Ее тоже лечит надо. В палату ее, к больным. Снимайте с нее халат!»

Так что всюду, куда ни падал досужий мой взор, куда ни простиралось мое в меру робкое размышление, всюду была засада, опасность и то самое досужее знание, которое дегтем отравляло нашу общую коммунистическую бочку с медом «созидательно-го труда», с пятилетками за три года, с социалистическим соревнованием и прочими нашими тогдашними радостями. Да если бы только умозрительную бочку с идеологическими помоями — это разлагало душу и ум. Потому что трудно было удержаться на этом гребне неведения и оптимизма и не свалиться либо вправо, в оголтелый национализм и ненависть ко всем народам, кроме своего, либо влево, в запредельный цинизм и одобрение всех решений партии и правительства, как прежнего, так и нынешнего: расстреляли? — правильно сделали! Никто не знает, что бы там они понаписали! Посадили? — одобряем, поддерживаем! Значит, рыло в пушку! Ведь ведомо каждому: нет дыма без огня... И вообще: чем хуже, тем лучше, а то, ич, как разболтался народ после 20-го съезда! Сталина на вас нет! Навел бы порядок! И смыслом текущего дня станови-

лось вот это, из песни Максима:

*Агов, Колюня, не будь козлом
За чемпіона в той лохотрон.
Хапай загашник — і в гастроном
Тут за рогом, оце й бігом.*

Или, если отвлечься от этой сугубой малороссийской химерности, можно напомнить слова Олдоса Хаксли практически о том же, о чем пел нам Максим Добровольский на Крещатике, сказанные еще в 1932 году в романе-антиутопии «О дивный новый мир»:

«Ведь, как всем известно, если хочешь быть счастливым и добродетелем, не обобщай, а держись узких частных; общие идеи являются неизбежным интеллектуальным злом. Не философы, а собиратели марок и выпиливатели рамок составляют становой хребет общества».

Про «гастроном», который стал неким символом пассивного сопротивления трудового народа многообразным партийным начинаниям и инициативам, — это тогда, в застойные времена было актуально, — а ныне другой уж слоган: «Обогащайтесь! И вам за это ничего не будет!» Правда, сами органы и бросились наперегонки первыми воплощать его в свою личную жизнь, наплевав на «право-и-лево»; теперь «право» весьма даже было желательно: на востоке от Киева ворочался и рычал страшный российский медведь, сидевший на нефти и газе, — его-то и объявили по телевизору виновником всех наших бед, неурядиц и нестроений, начиная с церковных проблем и заканчивая тем, что почти все заводы и речной флот — мы сами, а точнее, наши «эффективные собственники» — порезали на металлолом, продали в Турцию и Китай, но обвинили в том все того же гипотетического медведя. Ну а теперь, после «революции достоинства» и всего, что с нею было сопряжено, — так и совсем бурый неповоротливый «Миша» с северо-востока — оккупант и враг на будущие века. И легко, и приятно теперь все свалить на географического соседа, а некогда брата: это *они* — Стуса замутили! Это *они* — расстреляли украинское возрождение! Это *они* и цвет польской нации порешили в Катюни!.. Очень удобно, — а мы хорошие, белые и пушистые, мы ни в чем не виноваты: «он сам пришел!», как в кино про «бриллиантовую руку» кричала обнаженная до трусов красотка Светличная.

Но все это с нами произошло позже гораздо, и не о том я вел разговор.

Как писал архидиакон Павел Алеппский в 17 веке: «Возвращаюсь... Так и я. Возвращаюсь туда, чего давно больше нет.

За суетой дней и забот как-то подзабыл я о Галюне, дивной моей собеседнице и прекрасной землячке из Беликов, а когда спохватился, то вдруг понял, что не видел ее уже больше месяца. Виной тому польский Потоп и Руина Руси-Украины. Хмельницкие, отец и сын, с примкнувшим к ним Выговским забили мне баки конкретно. Позвонил на вахту в общагу, мне невразумительно что-то ответили, что вроде как и там ее давненько не видели. Я не поленился и съездил туда, разыскал Раю Налеву, о которой как о соседке своей по комнате Галюня иногда поминала при встречах. Рая тоже была нашей землячкой, из Козельщины, славной полуразрушенным монастырем с громадным собором и знаменитой чудотворной иконой Козельщанской Божией матери. Петр Паламарчук, московский друг Сероштана, внук маршала Кошевого, который вводил танки в бунтующую Чехословакию в конце 1960-х годов, написал небольшую книжку об этой знаменитой иконе. Фамильное прозвище Раи нравилось мне, уж я на нем от души оттоптался, когда бродили с Галюней по Киеву. Рая Налеву ныне радовалась бытовому своему одиночеству: Галюня несколько недель назад съехала жить на квартиру, но место за собой сохранила, потому к Рае комендантша и не подселала другую соседку.

— Может, Галюня вернется еще, — так предположила Рая, — может, ничего у нее не получится...

— А что же должно у нее получиться? — недоумевал я. — Может быть, замуж она собирается?

Рая многозначительно улыбнулась и ничего не ответила.

Через несколько дней я случайно встретил Галюню на Крещатике — просто увидел сквозь витринное большое стекло магазина «Женская мода». Какую-то тряпку она примеряла и собиралась купить.

— Подожди, Лешек, — сказала Галюня возле кассы, когда я коршуном на нее налетел, и вытащила из сумочки деньги, — я расплачусь, а потом кофе с тобой попьем здесь за углом. Мне надо тебе сказать кое-что.

Краем глаза я заметил тугую пачку красных десятков в сумочке у нее, перехваченную медицинской резинкой. Ну, разве мог я промолчать и сделать вид, что ничего не заметил? Нет же!..

— Ого! — сказал я. — Вижу, разбогатела?..

Галюня была все-таки умнее, чем я. Может быть, сказала ее математика, которая ведь сродни метафизическому созерцанию звездного неба, о чем еще Платон в диалоге «Тимей» писал так: «Мы не смогли бы сказать ни единого слова о природе Вселенной, если бы никогда не видели звезд, ни солнца, ни неба. Поскольку же день и ночь, круговороты месяцев и годов, равноденствия и солнцестояния зримы, глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу Вселенной, а из этого возникло то, что называется философией».

Или же, если не усложнять чрезмерно и не приплетать сюда Платона с «Тимеем», а просто из-за общей неудобоваримости и сомнительной все-таки приложимости к феномену современной образованной киевской женщины рекомого выше числа, по-простому сказать о глубине тайны присущего женщине деторождения, близкого, будущего, сокровенного замыкает уста, — ну и приумноженного многократно все тем же числом, из чего и слагалась природная женская мудрость Галюни из Беликов, моей ненаглядной, почти что любимой, — и она только пристально на меня посмотрела и ничего не ответила. Поделом же тебе, Маршалок!

После, в кафешке, глядя на ее удивительное и прекрасное лицо, я просто переживал эстетическое, а затем и едва ли не экзотическое наслаждение:

— Как давно я не видел тебя, Галюня... — я взял ее за руку. — Куда ты пропала...

Но спустя какое-то время заметил что-то новое в лице у нее, чего не было раньше, — подростковая нежность черт его, метафизическая дымка юности, свежести и неопасеная, которая будто прозрачное покрывало было наброшено на него, и, казалось, останется с Галюней навсегда и навечно, была словно снята некоей всевластной рукой, — и Галюня прямо на глазах выросла, преобразалась из прекрасной девочки в красивую молодую женщину. Я еще успел удивиться: неужели для такого превращения достаточно какого-то жалкого месяца, проведенного в некоем отдалении от нее, чтобы затем новым, отвыкшим взглядом все это отметить, принять и смириться? Но промельк этот был кратким, летучим, — придет когда-нибудь время, — подумалось мне, — и я вовсе не признаю при встрече Галюню, она станет незнакомой во всем и чужой, — но разве сейчас, в эту минуту, она знакома тебе? Ты видишь лицо ее, серые большие глазища, видишь абрис соразмерного женского тела, под струящейся юбкой длинные стройные ноги, ты догадываешься о достоинствах ее глубокого и спокойного ума, предполагаешь трепетную и ранимую душу в сокровенном и несказанном, таящемся в ней, — но что ты, по сути, знаешь о ней, о Галюне, об этом роскошном цветке, выпестованном в сердце полтавских степей, и о том, что ей предстоит, о ее женской судьбе, о ее будущем, — и каким будет оно?.. Но разве ты имеешь ко всему этому — к ней и к ее будущему — какое-то отношение?..

Все это, может быть, весьма коряво ныне изложенное, единым вздохом возникло во мне и через мгновение рассеялось паром.

— Лешек, — сказала Галюня, — помнишь, я тебе как-то рассказывала про двух девушек в одуренных заграничных прикидах, купленных за чеки Внешпосылторга в «Березке» на Пушкинской, и что они мне предложили? Ну так вот, я решила попробовать...

— Галюня!.. — воскликнул я было, но она знаком остановила меня.

Да я и сам было подумал: а может, речь о чеках идет, — и ей предложили купить просто их? Что это я дергаюсь?

— Лешек, мне вовсе не о том надо с тобой поговорить, — свои эмоции, домыслы и предположения оставь при себе. Скажу даже больше: они мне неинтересны и не волнуют меня. Ты мне не брат, не отец, ты не герой моего романа, но мы дружили с тобой, бродили и разговаривали обо всем, и я, быть может, даже испытывала к тебе какое-то чувство, — назовем это просто симпатией. Ты же хороший человек, Маршалок, хороший! Вот по этой причине, без лишних подробностей, я и хочу предупредить тебя вот о чем. Прежде чем меня... ну, приняли, так сказать, в это сообщество, некий мужчина, ну, куратор, что ли, моих новых подруг, провел со мной установочную, так скажем, беседу, — о предмете ее я распространяться не стану... Представь, мне пришлось даже подписку особую дать — о неразглашении государственной тайны, — она улыбнулась, и мне даже полегчало от улыбки ее, — но ради наших с тобой добрых отношений, ради нашего прошлого, которого, может быть, даже и не было вовсе, но всякое могло бы все же произойти...

— Но — что? — спросил я. — Что я сделал не так? Что — пропустил?..

— Все, Лешек, все ты пропустил...

Во мне что-то затрепетало, затем оборвалось, — и я, кажется, начал туго и медленно понимать, чего я лишился за этими дурацкими разговорами прошедшей осени, проведенной рядом с Галюней в бесцельном кружении по холмам и бульварам Киева. Я ведь отнюдь не Петрарка, не Данте, а Галюня — отнюдь не Лаура и не Беатриче. С той поры все весьма упростилось, обесцветилось, и вовсе не нужны больше сонеты о воз-

вышенной, неземной любви, но нужна сама любовь, в ее самом жестком и жизненном воплощении. Как тут не согласиться мне с недогарским Бовой? Наверное, следовало мне покуситься на Галюнину красоту... А я, дурачина, толковал ей о Пястах и Сигизмундах... Нашел о чем с красивой девушкой говорить...

— Снова ты не о том, — не о том, Маршалок! — сказала с нажимом Галюня. — И я не для того пригласила тебя выпить кофе...

— А для чего? — спросил я. — Разве не попенять мне за мою слепоту, за мою недогадливость?..

Она улыбнулась.

— Нет. Надо было раньше задавать эти вопросы. Так вот, — она возвращалась к тому, с чего начала, — тот чувак с площади Ленинского комсомола, среди всего прочего, так сказать, установочного, спрашивал о тебе...

— Погоди, Галюня, что значит «установочного»? Что вы с ним «устанавливали»? И для чего?

— Вот о том я рассказывать и не буду тебе: это и есть... — она помялась мгновение и продолжила, — государственная тайна...

— А ты-то к этой тайне какое имеешь касательство?

— Лешек, дашь ли ты мне закончить? Я хочу рассказать тебе о тебе же...

— Я снова ничего не понимаю. Я-то к твоим секретам какое отношение имею?

— Никакого. Как и ко мне. Так я и сказала тому «комсомольцу»... Но ты пошевели все же мозгами и подумай: откуда они о тебе что-то знают?

— Да что они знают, — тут я уже разозлился, — если я сам о себе ничего не знаю?..

— Ну, вот имя твое и фамилию знают, откуда и зачем ты в Киев приехал, что изучаешь и чем особенно интересуешься.

— А чем таким запретным, по их мнению, я интересуюсь?

— Лешек, ты меня раздражаешь! — сказала Галюня. — Что, мне еще и об этом тебе рассказать?

— Ну ладно, — вяло я согласился, — ну, вот историей Руси-Украины я занимаюсь, Польшей, чем там еще... Никого не убил, ничего не украл... Ну и что из того?..

— Думай сам, Маршалок. Или ты считаешь, что они просто так спрашивали? Ладно. Я предупредила тебя. Мне пора уходить. Прощай же.

Она улыбнулась мне какой-то странной, новой улыбкой, отодвинула кофейную чашку, встала, — такая легкая, в светлом длинном плаще, высокая, статная... Терял ли ее я? Обладал ли я ею вообще? Вот это, а отнюдь не то, что она мне сообщила, волновало меня. Ну, спрашивал какой-то хмырь обо мне, — да и хрен с ним, — разве это имеет какое-то значение по сравнению с тем, что Галюня уходит, — а мы ведь и не начали еще разговаривать... Мне так много надо ей рассказать и даже сказать: и о Хмельницких, и о том, что я начинал понимать в мутном токе минувших событий, в этой куче малой наломанных дров, в этом неугасимом пожаре, огне, который слепо, безжалостно уничтожал нашу общую родину, Речь Посполитую... О том — рассказать. А — сказать?.. Разве что я больше не могу без нее, — и каким же я был идиотом, что все пропустил. Нет, ничего не исправить, не изменить — ни с Речью Посполитой, ни с Галюней...

— Ну, мы же увидимся еще с тобой, — сказал я, — погуляем, как прежде... Вот Максим сочинил новую песню из альбома «Kinks» — «Face to Face», 1966 года, давай как-нибудь послушаем его в мастерской у Гетона, зайдем туда, посидим, выпьем «биомицина»... Я узнаю, когда он там будет с гитарой...

Она стояла уже на пороге, но будто бы колебалась.

— «Биомицина»... — раздумчиво повторила она и вздохнула.

— А еще, знаешь, меня потрясло его переложение из рок-оперы «Jesus Christ Superstar», арии Пилата, — и я даже тихонько запел, подражая Максиму:

Я снів, що стрітив в Василькові одного чудака:

Він лежав просто неба і мовчав, і навіть не мигав.

Тож, звісно, спитав я, що сталося, чи лихо стряслось.

Подумавши, він трохи помигав й не мовив ні фіга.

Й тут добрі люди в штатським від імені мас

Взяли цого за таз та й пов'язали враз

Й кинули в УАЗ.

Й тут вгледів я в кожнім обличчі отого чудака,

Й так ясно те угледів, аж здригнувся

Й немедленно проснувсь.

Я еще доборматывал про милицейский «УАЗ», а за Галюней уже закрылась зеркальная дверь, словно утянувшая ее в омут Крещатика, блестяще-бездушного, пожирающего нас с нашими жизнями без остатка.

Осталась от нее салфетка с какими-то непонятными буквами. Я так и не понял, что там было написано.

Сегодня, когда я ставлю в проигрыватель переизданный несколько лет назад и хорошо ремастрированный компакт-диск «Jesus Christ Superstar» 1970 года и слушаю арию Пилата в исполнении Барри Деннена, я вспоминаю то давно прошедшее время смутных надежд нашей молодости, упований невесты на что — наверное, все же на чудо, — вспоминаю Галюню из Беликов и ту нашу последнюю странную посиделку в угловом кафетерии на Крещатику средней весны 1978 года — и понимаю, отмечая то, что произошло со мной, предсказанным ею, что чудо со мной уже совершилось, а я... я просто его не заметил.

Глава 19. ГЕТМАНЫ МАЛОРОССИЙСКОЙ РУИНЫ И КОЛЛЕКЦИЯ МАРОК

Мир не обрушился, не разлетелся огненными камнями в черноте и непроглядности мироздания, пространство, окружавшее меня, не раскроилось антрацитовыми кусками, не опало слепыми плоскостями разбитого зеркала, — все осталось, как прежде, недвижимым и неизменяемым, или, напротив, текучим, бессмысленным и бездушным — за зеркальной дверью, за которой скрылась Галюня, жизнь продолжалась: шли прохожие, неслись автомобили, степенно и неторопливо проезжали троллейбусы, набитые сотрудниками всяческих научно-исследовательских институтов и работягами с «Арсенала», студентами, симпатичными девушками; мужики среднего возраста, любители домино, голубей и футбола, горячо обсуждали предстоящие игры любимой команды «Динамо»; алкаши считали мятые рублевки, звенели медью и серебром и решали головоломку с покупкой какой-то закуски к портвейну; партийные бонзы составляли отчеты в красноречивую Москву по посевной, по озимым, по неустанной борьбе с буржуазным украинским национализмом, пресечению происков поджигателей войны и достижению очередных целей в деле строительства коммунизма. До горбачевского «социализма с человеческим лицом» было еще «как до Киева рачки», — и пока что — до времени великих свершений — мы с завидным усилием строили коммунизм.

Только уже без Галюни...

Странно, думал я, дожевывая уже практически про себя последние строки арии Пилата в химерном драматическом переложении Максима Добровольского, вроде бы никаким боком не могло произошедшее касаться меня: ну, дала понять мне красивая дивчина, что больше не бродить нам по улицам, не общаться друг с другом, — хотя «общаться» — сказано громко, общение предполагает все-таки диалог, я же ей практически не давал говорить, она просто слушала меня, распинаящегося со своим обретаемым суетным знанием, натасканным без всякого разумения и системы в Исторической библиотеке, — дар был у нее такой редкий — слушать, внимать и, может быть, даже понимать то, что слышала; не бродить, не гулять, не смотреть в молчаливом восхищении на ее прекрасное лицо, не созерцать ее соразмерную девичью фигуру, не рассматривать украдкой ее совсем не крестьянские руки с длинными изящными пальцами, с продолговатыми полупрозрачными ногтями, вовсе не требовавшими какого-то маникюра, ухода и полировки; не смотреть в ее серо-голубые глазки, — не созерцать ее всю, целиком, — ну и что? Что с того? Будут еще у меня... Куда они денутся... Будут и лучше... Ведь все впереди у меня, разве не так?.. Но откуда взялась тогда эта тяжесть в душе у меня, растворенная горечью и жалостью к себе самому? Чем это было? Моим уязвленным самолюбием? Эгоизмом? А может, даже любовью? Но что за зверь эта любовь?.. Я ведь не знал.

Просто Галюня ушла.

А к чему тогда были все эти мои разговоры, монологи, копание во лжеименном архивном знании? Но, с другой стороны, разве ради Галюни я раскапывал все эти судовые тяжбы на староукраинском языке, или козацкие летописи, или польские хроники? Разве ради нее старался я что-то понять в слежавшихся, слипшихся в некую биомассу временах — днях, битвах, веках, — я слышал беззвучные крики, видел мумии козаков, сидящие на колах вдоль дорог, видел кровь, напитывающую черноты Сходних кресов Речи Посполитой — разве ради Галюни я пытался уловить и вычленил некие алгоритмы прошедшего, чтобы что-то понять? А что же понять — даже и не высказать словом простым. Галюня тут — кто и зачем? Разве она — не случайна совсем? Ну, приехали в конце лета мы с ней из Полтавы на раздолбанном поезде Южной железной дороги, — что с того? Ну, прошлись пару раз по Подолу, полюбовались панорамой Днепра с Андреевского спуска, ну, взял я однажды ее за руку и, кажется, слегка приобнял... Вот уж свершение! Так к чему и откуда это странное сожаление о Галюне и такое острое чувство утраты?..

Я просто терпел во всем этом. Я шел уже по Крещатику, машинально заглянул в гастроном, купил бутылку новомодного молдавского «Белого аиста» и зашел по пути в подвал к Шерстюку. Я знал немного его через Максима Добровольского, они

были большими друзьями. Тот занят был делом — тщательно выписывал что-то вроде гиперреалистичного комикса большого размера: сексапильные полуголые барышни с торжеством сочной плоти, лезущей из-под лоскутков одежды, вороненные стволы пистолетов, какие-то разбросанные карты... Но я не особо приглядывался — до поры был оглушен этим безжалостным, неожиданным ударом по голове, — я даже не предполагал, что уход Галюни окажется столь болезненным для меня.

Сергей завел какой-то незначительный разговор. Звучал Джон Колтрейн *Meditations* 1965 года. Пахло краской, растворителями и чем-то еще специфическим. Я откупорил бутылку, и мы выпили.

Боль притушилась, затем я отвлекся незначительным разговором, музыкой и разглядыванием его «комикса», — боль постепенно из меня уходила, спиртное даже слегка веселило, и я снова понемногу возвращался к себе. И первое, о чем я забыл, — вернее, я забыл об этом сразу же, едва Галюня сказала об этом, — о чуваке с площади Ленинского комсомола, который спрашивал у нее обо мне.

И совершенно напрасно.

Пришел затем и Максим, зазвенели гитарные струны, кто-то притарил пару бутылок портвейна — дым, смех, музыка, химерные вопли Максима, его отчаянный спор о «Поцелуе» Густава Климта и, одновременно с этой высоколобостью, даже диковатое пение акапелла, — пришли девчонки какие-то, кто-то из хипповой тусовки с Крещатики, разговоры обо всем и ни о чем, притащили вермута, захожане восторгались неподписанным «комиксом» и сетовали, что такое творчество обречено в Киеве на непонимание и забвение в таком вот подвале, то ли дело в Москве, — слышали, там в каком-то «горкоме графиков» недалеко от зоопарка открылась подпольная выставка авангардистов? — вот туда бы, Сережа, тебе с твоим гиперреализмом податься!.. А шо — ночь на поезде, и ты в «дамках», Сережа! Вы бы с Гетоном показали москалям, шо такое киевская школа живописания! (Спустя совсем малое время все эти пожелания доточно сбылись: Шерстюк и Гетон отправились покорять ледяную Москву и, кажется, даже ее покорили, если вообще мыслимо ее покорить). Какая же это подпольная выставка, спрашивается, если даже отут, на Крещатике, мы знаем о ней и разговариваем? А кто-то даже на ней побывал... Подпольщики — они тихо в схроне сидят, и никто о них не слыхал, что делают — неизвестно, когда ловят — расстреливают или ссылают на Колыму, а мы тут толкуем о них невозбранно... Та то все дешевый пиар, чуваки: гонимые, не пускают, дышать не дают, а потом гонимый объезжает, как Евтушенко, весь мир со своим словесным поносом, — и снова, видишь, гонимый... Вот кто тут гонимый, так это Исаич, которого выкинули за кордон, или наш Стус, политзаключенный где-то во глубине сибирских руд за стихи, кто там еще... Звенели стаканы, дверь открывалась и закрывалась, пустые бутылки заменялись другими из ближайшего гастронома, — обрывки, ошметки, разноголосица, — я сидел в углу мастерской Шерстюка, среди сломанных золоченых рам, выброшенных за ненадобностью из Дворца пионеров и притащенных Сергеем в подвал для новой жизни, среди подрамников, среди трубок холстов, банок, склянок, кистей, каких-то запыленных бутылок с засохшей олифой, и в голове у меня будто бы копилась какая-то серая вата, пропитанная разнообразным алкоголем, которая глушила проблески какого бы то ни было разумения или понимания — в этом тумане, в бессвязной атональной симфонии разговоров о фотографическом реализме, о проекторах и переносе удачного снимка на лист вагмана, о тщательной прорисовке свиновым карандашом и последующей раскраске акрилом, — Галюня отдалялась от меня и погружалась в серую толщу забвения, будто бы малая человеческая Атлантида, данная на краткое время мне, человеку, то ли судьбой, то ли случайностью.

Нетвердой походкой, на подгибающихся ногах — то ли от пьянства, то ли от пережитого только что, то ли просто от усталости этого долгого трудного дня — я вернулся в общагу и рухнул в кровать. Поутру, когда призрачный и обманчивый флер потребленных накануне напитков улетучился, всюду виделся мне разброд и шатание, зияющие пустоты: во мне, в универе, в будущих моих разысканиях, — пчела, собирающая нектар, должна куда-то его принести и что-то с ним сделать, но почему-то теперь вдруг открылось, что присутствие Галюни в моей жизни было весьма определяющим, важным, значительным, чего прежде я даже не предполагал, весьма легковесно к ней относясь. Когда и как успела она так глубоко проникнуть в меня? Откуда-то из тьмы, клубящейся во мне, вставали неразрешимые, ужасающие по своей сути вопросы: зачем я живу? К чему это все? Как осознать начала и принципы существования этого мира? Что такое время, когда оно началось, кто запустил его безостановочный ход? И зачем, в конце концов, это все?.. Каковы конечные, настоящие цели человеческой жизни, шире — народа, глубже — всего человечества? Чему учит история — даже недолго-советская, в которой суждено нам было родиться, жить и, может быть, умирать?

— Бова, — сказал я недогарскому соседу, пьющему утренний чай и смотрящему в окно на просыпающуюся Борщаговку, — не кажется ли тебе, что мы, проживающие свою жизнь без особых забот и приключений вроде настоящего голода и настоящей войны, подобны прудовым карасям, которым даже неведомо, что наверху кипит разнообразная и неисповедимая жизнь: растут травы, деревья, леса простираются за горизонт, наполненные разнообразной живностью, живут разные люди в неисчислимом количестве, каждый со своей тайной и неисповедимой судьбой, — и все прочее без числа. Но карасям неведомо ничего из того. Жизнь их вполне самодостаточна, закончена и полна...

— Тю, — прервал меня Бова, — шо то с тобой, Маршалок? Накрыл отходняк, шо ты ото философствуешь? Сквородой быть захотел, мандрованным дьяком-философом? Выпей пива ото та пошли на занятия. Нас ждуть большие дела на педагогической ниве! А то Гацура поставит пропуск тебе, и останешься без стипендии, на фиг...

С тем Бова и вышел из комнаты. Я завидовал его счастью, его незамутненности познания, его простоте. Я сам хотел быть таким — но почему-то не мог. Что мне мешало? Польское жало в плоти и отсутствие украинской простодушности и приземленности? Или многое знание, что сопряжено с известной печалью, о чем еще говорил ветхозаветный Соломон? Но знание не может быть полным и всеохватывающим, и великий мудрец Сократ в простоте говорил: «Я знаю, что ничего не знаю», — а что знаю я? Череду разрозненных фактов, наваленных буреломом в нашей истории, где все смешалось и перепуталось в сущий Гордиев узел, который в пору лишь разрубить?.. Как тут снова не помянуть странствующего нашего философа Григория Сквороду:

«Что жизнь? То сон турка, упоенного опиумом, — сон страшный: и голова болит от него, сердце стонет. Что жизнь? То странствие. Прокладываю и себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти. И всегда блуждаю между песчаными степями, колючими кустарниками, горными утесами, — а буря над головою, и негде укрыться от нее. Но бодрствуй...»

«Бодрствуй» — ключевое здесь слово. Но я — бодрствую ли? Или упиваюсь своими снами о былом, давно прошедшем «золотом веке» нашей родины?

А что я хотел Бове сказать? Что — от Бовы услышать? Вроде бы утро было обычным, бессчетным в общем истекшем ряду и, по всей вероятности, близнецом будущих пробуждений моих, но при этом что-то во мне изменялось, я становился другим, — было ли это как-то сопряжено с иллюзорной потерей Галюни, или просто совпало с неким внутренним ростом моим, или, напротив, провалом в ничтожество и никчемность, — здесь-то как рассудить? — но отныне и довеку приходилось мне привыкать к этому своему новому состоянию одиночества, или оставленности, ненужности, или никчемности... Галюня и ее вчерашний уход — стали вроде спускового крючка или символа-знака, разделившего мою жизнь на *до* и на *после*, и трудно было как-то трезво и правильно расценить, стало ли хуже, стало ли лучше, — ни то, ни другое, — но стало все по-другому.

Исподволь, медленно и со скрипом, словно заржавевшая гайка, я возвращался туда и к тому, что оставил своим размышлением прежде розыска Галюни в общаге у Раи Налево и случайной с ней встречи. Или, перефразируя 26 притчу, я возвращался, подобно псу, на блевотину свою, то есть в украинскую Руину и в польский кровавый Потоп второй половины 17-го столетия, — хотя в какую такую «блевотину»? — скорее в сущее горе, несчастье и путаницу, когда смешались небо с землей, восток с западом, когда власть имущие или власть временно предержавшие снова и снова наступали на одни и те же грабли, блуждали в трех соснах, не зная, не ведая, где преклонить буйную чубатую козацкую голову: к московскому ли самодержцу Алексею Михайловичу, к польскому ли королю Яну II Казимиру, к крымскому ли хану Гераю, или же вообще к турецкому султану Мехмеду IV — и все вроде с повинной, с покорностью внешней, питая надежды невесть на что...

Но все же — на что?..

Деяния и решения Переяславской поры, претворенные в жизнь усопшим Богданом Хмельницким стали для его сына Юрия отдаленным уже, полузабытым и незначительным делом, некоей политической уловкой, дабы очередной раз обмануть варшавских панов, издали угрожать им новым сильным союзником на востоке и выторговать у польского короля очередные уступки вроде поблажек утесняемым православным, увеличить реестр Запорожского войска, повысить денежное довольствие козаков и подтвердить вольности их, — но это и все...

Этот Юрий, сын Богдана, оказался тем еще деятелем, если таковым можно его вообще посчитать. Запорожцы, очарованные многолетними заслугами и подвигами его великого и прославленного отца, имели крепкую надежду, что яблоко от яблони недалеко укатилось и что сын, пусть даже не полностью, но хотя бы половиной, станет наследником и продолжателем тектонического государственного сдвига,

который осуществил Хмельницкий, продолжит дело освобождения русского народа от вековых бед и несправедливостей, снежным комом накапливавшихся в Речи Посполитой. Пусть геополитический сдвиг этот произошел, можно сказать, даже случайно — так получилось неожиданно-негаданно, старый гетман и сам не чаял того: он звал-позывал, обещал-завлекал будущими общими благами — московский медведь только ворочался, думал тугую и неисповедимую думу свою и не предпринимал ничего существенного, отговариваясь невесть чем и только рыча при новых вестях о преследовании и утеснении православных, — но пробил час роковой, и медведь восстал во весь свой гигантский рост, махнул страшной лапой с крюками-когтями и с ревом попер на польскую Украину, круша крепостицы, сжигая селения, рассеивая отряды посполитого рушения и коронного войска, сметая все на своем пути. В сравнении с тем, что наконец-то произошло, тактические, близкие цели Хмельницкого оказались просто ничтожными и никакими, они без следа растворились в неудержимой, неостановимой стратегии молодого Московского царства, воспрявшего наконец после Смутного времени и расправившего могучие плечи, — так растворяется без следа кусок сахара в лохани воды, — что там из Переяславских договоренностей и угод осталось в силе и в неизменности не то что даже через сто лет, а к концу 17-го века, ко времени гетманства Мазепы?.. Практически ничего: Москва, даже не поперхнувшись, поглотила Южную Русь.

Но и тому были свои причины, о которых я уже кратко упоминал: непостоянство и шатость козацкой старшины и общая разделенность народа — правобережные тянули всё к привычной им Польше, левобережные смотрели в московскую сторону — умозрительный маятник колебался, как с полковником Цецюррой, — от званой трапезы за царским столом и безмерно расточаемой лести, до предательства в роковую минуту, как в тяжелом поражении войска Шереметева под Чудновым в один и тот же 1660 несчастливый год.

Но полковник Цецюра был все же частностью, «винтиком» в сложносочиненном механизме предательства, — и он, вполне вероятно, сохранил бы верность присяге и воинскому долгу тогда, под Чудновым, несмотря на свои сомнительные прошлые дела и подвиги под Конотопом, когда он сражался против московских войск под началом гетмана Ивана Выговского, если бы не грандиозная измена Юрия Хмельницкого, на чью помощь, обусловленную задолго до начала Шереметевской войны, рассчитывал в крепкой осаде знаменитый московский воевода-боярин.

«Яблоко» укатилось довольно-таки далеко... Еще при жизни отца Юрия соборно объявили отцовым преемником на гетманстве. Дело, ранее просто немыслимое, памятуя о своеобразной демократии козаков, когда гетманский чин, звание, должность вовсе не служили гарантией даже личной безопасности носителя их. В этой же великой, невиданной прежде освободительной войне козаков имя вождя их бронзовело от подвигов и заслуг, застывало памятником, и в пору гетману было уже учреждать даже династию. Так малолетний Юраско стал гетманом. Забегая вперед, надо сказать, что за свои 44 года, которые пришлось ему прожить на этой земле, гетманом он становился целых четыре раза, — таковым удельным весом обладало его фамильное прозвище и заслуги отца. Когда Богдан умер, Юрия на гетманстве утвердили уже официально, но ненадолго: ему исполнилось всего 16 лет, а вокруг бушевала война, горела земля, лилась кровь, Речь Посполитая как государство висела на сущем волоске, теснимая одновременно Швецией и Москвой, и Южная Русь-Украина находилась в самой середине этого кровавого, дымного варева. Жалкие ошметки Речи Посполитой сохранились одним только чудом, — похоже, что всеблагий Бог давал когдатойшей «державе без вогнищ» последний шанс: так Москва, опасаясь усиления Швеции после захвата польских земель, на время приостановила свои военные действия против Речи Посполитой, заключив Виленский мир, и даже объявила войну Швеции, став, по сути, союзницей недавней соперницы. Поляки ради последней надежды посулили Алексею Михайловичу даже польский королевский престол. Как тут не вспомнить события Смутного времени — королевича Владислава, избранного русскими боярами московским царем, и отца его Сигизмунда III, тоже претендовавшего на Московское царство и даже соперничавшего с сыном, — такой вот симметричный ответ получили поляки через полвека... Но Алексею Михайловичу так и не довелось сесть на польский престол. Богдана же при заключении Виленского перемирия с козацкой делегацией даже не пригласили на эти переговоры, по сути, нарушив тем самым Переяславские договоренности, — просто отстранили от дела, к которому козаки имели непосредственное касательство и самый жгучий интерес. Ведь ради чего и велась эта война — ради территориального, политического и психологического закрепления Переяславских договоренностей и скорейшей интеграции Южной Руси и народа ее в нарождающуюся Российскую империю — польско-русская война конечной целью своей имела если и не полное уничтожение Речи Посполитой, то по меньшей мере достаточное

ее обескровливание, чтобы уже не оставалось у панов сил ни на что. И вот — такое досадное отступление вспять... Преднамеренно ли, случайно ли, но спустя всего два года после Переяслава московиты дали понять козакам, кто в доме хозяин. Конечно, Хмельницкий все понял и испил горькую чашу разочарования и обиды. Еще бы!.. Но и поляки здесь подсыпали перца: гетманские послы, не имея достоверных данных о результатах переговоров от московских людей, получили «информацию из достоверных источников» (от польских же дипломатов) о том, что, мол, Гетманщина вновь передается под власть Польши, и, в случае неповиновения козаков, московские войска выступят против них сообща с польскими. То есть все по видимости возвращалось на круги свои!.. Но здесь вина, несомненно, лежала на московских боярах и воеводах — ничто, по сути, не мешало им интегрировать в переговорный процесс козаков или по крайней мере ввести их в курс дела, доступно и внятно объяснить свою тактику, на пальцах растолковать, что, к чему и зачем... Но нет... Была ли во всем этом тонкая и злокозненная интрига или просто так все несчастливо сложилось, сегодня уже не понять. Русь-Украина оказалась на грани взрыва: на созданной в Чигирине раде все полковники, есаулы и сотники поклялись Богдану, что будут совместно бороться за Гетманщину: «присягали себе, а не чужим монархам»... Старый гетман, жить которому оставалось не более полугода, нашел в себе силы и решимость помимо Москвы заключить в конце 1656 года так называемый Радотский договор со шведским королем Карлом X и семиградским князем Дьердем Ракоци. Говоря другими словами, он просто не подчинился Алексею Михайловичу с его высоколобыми воеводами и выступил против московских политический раскладов — по Виленскому договору Москва ведь против Швеции уже воевала в союзе с партизанскими отрядами разбитой в прах Речи Посполитой... Согласно договору Хмельницкого с Карлом X и Ракоци, Речь Посполитая должна была исчезнуть с политической карты Европы, чего так хотел сам Богдан, и подвергнуться разделу между союзниками. Предполагалось, что Ракоци получит титул короля Речи Посполитой, а также значительную часть польских владений. Карл X удерживал за собой уже завоеванные польские земли в Прибалтике и Литве, Хмельницкий становился неким «дидачным князем» — трудно сказать, что подразумевалось под этим титулом и какая дальнейшая судьба предполагалась для Южной Руси и для народа ее, но, похоже, это его вполне на данном этапе устраивало, лишь бы только Польша исчезла с земли. Он отправил на помощь своим новым союзникам 12 тысяч козаков. В то же время гетман пытался по возможности сохранить отношения и с Москвой, т.е. он хотел создать такую политическую комбинацию, которая дала бы ему возможность покончить с ненавистной державой, стереть с лица земли Речь Посполитую либо так, либо этак. Гетману важен был результат, а про способы его достижения — после Виленского договора — нечего уже было и заморачиваться. Москва только что и смогла, как выразить свое крайнее неудовольствие самостоятельной политикой гетмана. Тем временем новые союзники начали вполне успешно войсковую кампанию в Польше: были захвачены знаковые, столичные города — Варшава и Краков, и все предвещало скорую победу, но тут снова вмешался Божественный промысел, не дававший Речи Посполитой провалиться в политическое небытие: целых три государства, помимо Речи Посполитой и России, объявили войну Швеции — Дания, Австрия и Священная Римская империя, и Карлу X Густаву поневоле пришлось вывести большую часть своих войск из Польши и двинуть их на новых противников, при этом ничего не сообщив союзникам о своих изменившихся планах. Как Москва, так и Швеция выступили в этой войне в роли так называемых «старших братьев», ни перед кем не отчитываясь, не раскрывая своих планов союзникам, единолично и только в своих интересах заключая договоренности с противниками, как прежде произошло с Виленским договором, обрушившим козацкую веру в Москву, так и теперь: шведы просто ушли по своей шведской нужде. Да и кто такой этот трансильванский князь Ракоци? Разве можно поставить его на одну доску с великим завоевателем Карлом X Густавом, который в воинской славе своей уступил спустя полвека разве что Карлу XII, сопернику Петра I?.. Общий военный фронт без шведов развалился, захваченные города Ракоци оставил и двинулся назад в Трансильванию, по пути теряя большие количества своего воинства в налетах крымских татар. Запорожцы, отправленные Хмельницким в коалицию, взбунтовались — цели вооруженной борьбы стали неясны, если не были утрачены вовсе, — и вернулись домой на днепровские земли. Речь Посполитая в который раз была спасена...

Военные поражения стали тяжелым психологическим ударом для Хмельницкого и способствовали его преждевременной смерти, но перед тем ему еще раз пришлось испить горькую чашу от московских послов, окольного Федора Бутурлина и дьяка Василия Михайлова, которые, невзирая на последнюю, смертную болезнь старого гетмана, приехали в Чигирин, добились свидания с ним и набросились с упреками за самовольный союз с Карлом X и Дьердем Ракоци... Стоит упомянуть здесь и о том,

что и поляки тоже вовсе не спали, и в Чигирин с льстивыми увещаниями и иезуитскими, ничего не значащими обещаниями прибыл опытный дипломат пан Станислав Беневский, в будущем едва ли не духовный отец и главный советник Юраска Хмельницкого, сыгравший роковую роль в измене того делу отца. Николай Костомаров в работе «Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий» так рассказывает о состоявшемся разговоре:

«Что мешает вам, гетман, — говорил Хмельницкому польский посланник, — сбросить московскую протекцию? Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными». — «Я одной ногой стою в могиле, — отвечал Хмельницкий, — и на закате дней не прогневаю Бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только без вреда московскому царю, потому что как мы, так и вы, избравши его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность!»

Следует немного прояснить этот примечательный разговор: Беневский прямо здесь говорит, что Алексей Михайлович никогда не займет польский престол, как было обещано ему панами в стесненных обстоятельствах только что, ибо «обещать — не значит жениться», а гетман, в свою очередь, призывает Беневского и в его лице всех поляков хранить верность данному слову и обещанию: «вы, избравши его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность!» Можно только представить, сколь смехотворными были эти слова для Беневского, — какую там верность хранить, Господи, — ведь все это простецкая и понятная тактика, и умирающий гетман, при всем его значительном опыте, так ничего в жизни и не понял. Плохо же его иезуиты учили... А Речи Посполитой требовалось всего лишь одно: некая передышка для консолидации своих разрозненных и деморализованных сил, чтобы восстановить порушенные Потопом границы и затем вернуть Южную Русь. Что хочешь тут и кому хочешь пообещаешь...

Вообще Станислав Беневский весьма поднаторел в искусстве «предсказания будущего», или, говоря по-простому, дезинформации, на которую весьма велись простодушные малороссы. Как тут не вспомнить раду из козацких старшин, полковников, сотников и значных, уважаемых козаков, произошедшую 8 сентября 1658 при гетмане Иване Выговском. Читаем снова у Костомарова:

«Явились польские комиссары: Беневский и Евлашевский. Беневский говорил козакам речь, бранил Москву, уверял, что у москалей другая вера, чем у козаков, что москаль не дозволят им свободно готовить водку, мед и пиво, прикажут надевать московские зипуны и лапти, запретят носить сапоги и впоследствии станут переселять козаков за Белоозеро, а с другой стороны обещал им часть в союзе с Польшей. Теперь, — говорил он, — не будет более рабства; строгий закон не допустит панам своевольствовать над подданными...» («Преимущества Богдана Хмельницкого»).

После такой зажигательной речи Беневского и был составлен примечательный в деталях Гадячский договор, о котором я уже рассказывал.

Удивительна совершенно неколебимая уверенность Беневского в этих вот его утверждениях: он хулит «московскую веру» — но разве он богослов и понимает что-то в различиях богослужения и догматики? Он пугает козаков московскими зипунами с лаптями — но разве он пророк и провидец? То же — о переселении за Белоозеро, хотя частично это сбылось через полвека, когда козаков обязали принимать участие в постройке новой столицы на невских берегах и болотах. Но это было общероссийское дело и государственная повинность, и не только козаки там трудились и бедовали от непривычного климата. О водке и пиве — о налогообложении этого промысла ходатайствовал через несколько лет перед царем другой гетман, Иван Брюховецкий, по сугубо личным причинам в надежде на собственное обогащение. Ну а о том, что «не будет более рабства» — это просто смешно: какими особыми полномочиями обладал Станислав Беневский, что раздавал подобные обещания? Никакими. И ни за что произнесенное не нес никакой моральной ответственности. Задача его была в другом: во что бы то ни стало оттолкнуть и отвратить от Москвы козаков, их властную верхушку во главе с гетманом, — «ум, совесть и разум» народа. И это отчасти удалось: Гадячский договор вполне себе имел место быть. Но только вот заковыка: сейм в Варшаве его, конечно же, не утвердил, не одобрил, но это уже другая история, как говорится... Так же примерно разлагали русские войска на фронте Великой войны в 1917 году засланные пропагандисты-большевики: дома делят помещичьи земли, а вы тут в окопах невесть зачем сидите, кормите вшей, отдаете жизнь за неизвестные цели, — «бери шинель, иди домой!» Итог пропаганды известен.

Таковым был контекст времени, в котором суждено было стать гетманом 16-летнему

подростку, сыну Богдана.

Что он мог сделать реально, как было ему разобраться во всех этих сложносочиненных политических узлах и интригах? Ничего и никак. Потому он с облегчением передал свое наследное гетманство Ивану Выговскому, генеральному писарю при покойном отце, ближайшему и верному сподвижнику Богдана с 1648 года, посвященному во все тайны гетманской канцелярии. К слову, Выговский перед Переяславскими договоренностями 1654 года был одним из самых ярых приверженцев нового политического курса и вхождения Южной Руси в орбиту Москвы. Но в самой этой неоднозначной фигуре скрывался и зародыш, или формула, будущих нестроений как Гетманщины, так и в целом южнорусского люда. Так проезжавший по Украине в декабре 1657 года греческий митрополит Колоссийский Михаил рассказывал, что «гетмана Ивана Выговского заднепровские черкасы любят. А которые по сю сторону Днепра, и те де черкасы и вся чернь его не любят, а опасаются того, что он поляк и чтоб де у него с поляки какова совету не было».

Что и как произошло с Иваном Выговским, я уже рассказал.

Во второй раз Юрий получил гетманскую булаву после низложения Выговского, имея от роду уже 18 лет. В 1660 году произошла военная катастрофа под Чудновым, когда Юрий не оказал помощи осажденной армии боярина-воеводы Шереметева, а затем под давлением правобережных козацких старшин вовсе сдался полякам и перешел на их сторону. Об условиях прежнего Гадячского договора, об автономии и самостоятельности уже вовсе не шел разговор. Юрий принес присягу на верность королю перед польским комиссаром Станиславом Беневским, влиянию которого он с этой поры и подчинился. В осажденном Чуднове, прослышав о том, полковник Цецюра со своими козаками оставил Шереметева на растерзание панам и татарам. «Этому гетманишке, — сказал о Юраске суровый Шереметев, — идет лучше гусей пасти, чем гетмановать».

Южная Русь, и прежде расколота на части, получила новые испытания гражданской войной: против Юрия выступил его дядя по матери Яким Сомко, поднявший против изменника Левобережье. Борьба между ним и Юрием продолжалась с переменным успехом в течение всего 1661 года. Осенью 1661 года и летом 1662 года Юрий безрезультатно осаждал Сомка в Переяславле. Во время этих событий козаки Хмельницкого и их союзники крымские татары отличались на Левобережье чрезвычайной жестокостью, — так, к примеру, было полностью вырезано или угнано в татарское рабство население древнего города Лукомль, после чего он навсегда пришел в запустение. На помощь Сомку пришли царские полки из Слободской Украины под командованием князя Григория Ромодановского. Юрий стал отступать за Днепр, и 16 июня в битве под Каневом потерпел разгромное поражение от войск Сомка и Ромодановского. Остановить продвижение царских и левобережных козацких полков на Правобережье Юрию удалось лишь с помощью крымчаков в битве под Бужиним. Но дело его уже было проиграно. В конце 1662 года Юрий отказался от гетманства и решил постричься в монахи: «Бог не дал мне отцовского счастья»... Новым гетманом Правобережья был избран Павел Тетеря.

Отныне Юрия звали иноком Гедеоном и жил он в Корсунском монастыре, но покой юному иноку только снился. Новый правобережный гетман Павел Тетеря оказался весьма недоверчивым человеком и подозревал, что новоиспеченный Гедеон под монашеской мантией лелеет надежду вернуть себе гетманскую булаву, а вовсе не озабочен молитвами о спасении души. В том же Тетеря подозревал и низложенного Ивана Выговского. В 1664 году правобережный гетман расправился с обоими: Выговского 16 марта без суда и следствия расстреляли, а Гедеона вытащили из монастырской кельи и отвезли во Львов, посадили в крепость, где он в крепком затворе и заточении дожидался 1667 года, когда Павел Тетеря отошел на суд Божий. Заодно с ними на всякий случай был репрессирован и митрополит Киевский Иосиф Тукальский, проведенный в заключении в Мариенбургской крепости в глубине Польши два года.

Тетеря увековечен, как водится, на почтовой марке Украины в 2002 году.

Тем временем Османская Турция довольно неуклюже начала разыгрывать южнорусскую карту: султан оторвался от своих гаремных утех и решил, что богатые и обширные земли, невозбранно разрываемые в клочья соседними государствами, ставшие, по сути, бесхозными, могут сделаться довольно легкой добычей. Для того следовало использовать как надо южнорусскую смуту и гражданское разделение, как географическое — по Днепру, так и психологическое — привычное отношение к Речи Посполитой и к ее институтам, и новое, до срока неведомое — к Московской Руси. После кончины Павла Тетери гетманом Правобережья выбрали Петра Дорошенка, который с 1663 года был генеральным есаулом в войсках почившего гетмана, а еще раньше подавлял восстание козаков промосковской ориентации против Выговского в

пору его перехода к полякам.

Естественным образом я задавался вопросом: а кому, собственно, после Переяслава принадлежало Правобережье, за исключением Киева, который располагается там и который по ряду позднейших договоренностей остался навсегда в орбите Москвы как «мать городов русских»? Ответ прост до чрезвычайности: никому. И если в Заднепровье московские воеводы, несмотря на брожение умов, еще могли поддерживать какой-то видимый и хрупкий порядок, то Правобережье было совершенно свободно от какой-либо государственной власти, Польше было уже не до того, самой было сохраниться как-то, земли были разворочены недавней войной, социальные, политические и экономические связи ослаблены, если не все разорваны, — емкое слово «Руина» подходит здесь больше всего: тут бесконечно тлела гражданская война и ширилось нестроение, множество народа переправлялось через Днепр в Московскую Украину и уходило житьствовать как можно дальше от абсурда правобережной анархии и своеволия. Конечными целями массового переселения стала Слободская Украина — от Харькова и до Воронежа. И чем дальше забирался на северо-восток малоросс-посполитый с семьей, тем целее были его жизнь и имущество. Потому вовсе неудивительно, что Петр Дорошенко, вполне разделяя Гадяцкие мечтания Выговского об автономии козацкого края, стремился, в свою очередь, каким-то образом объединить Южную Русь и распространить свою власть на Заднепровье. Дабы привлечь к своим начинаниям Запорожье, без которого никакое объединение было просто невыполнимым, на одной из рад решено было изгнать всех католиков (читай же, поляков и униатов) из Южной Руси; кроме того, он попытался и продемонстрировать свою недюжинную военную силу: предпринял поход на Левобережье и осаждал Кременчуг. Попытка эта окончилась неудачей, но Дорошенко не оставлял своих планов, найдя для них даже моральную поддержку у киевского митрополита Иосифа Тукальского, жившего после освобождения из Мариенбурга в Чигирине. Его целенаправленной пропаганде объединения Южной Руси в единое целое поддались и левобережный гетман Иван Брюховецкий (с 1663 года), некогда ближайший слуга Богдана Хмельницкого и воспитатель его сына Юраска.

В июне 1663 года на Черной раде в Нежине Иван Брюховецкий был избран гетманом. Соперники Брюховецкого — переяславский полковник Яким Сомко и нежинский полковник Василий Золотаренко, были немедленно казнены под надуманным предлогом измены, — так зеркально и подсознательно претворился в жизнь турецкий обычай умерщвления многочисленных братьев нового султана во избежание предполагаемой смуты, мятежа и двоевластия. По свидетельствам современников, палач-татарин так был поражён внушительностью фигуры и красотой Сомка, что приступил к совершению казни с сожалением и выразил упрек козакам, заметив: «Сего человека Бог сотворил на удивление свету, а вы убиваете».

Князь Василий Волконский, будучи в это время переяславским воеводой, узнав о гибели своего сотоварища, обидевшись, заявил прибывшим к нему с этим известием посланцам нового гетмана: «Худые де вы люди, свиньи учинились в начальстве и обрали в гетманы такую же свинью, худого человека, а лутших людей, Самка с таварищи, от начальства отлучили».

Иван Брюховецкий стал первым малороссиянином, кто получил от московского самодержца боярское достоинство за верную службу: в январе 1664 года за оборону Глухова от польско-татарских войск, которая предопределила провал похода короля Яна II Казимира на Левобережье, и за участие в победе над польской армией при ее отступлении (Пироговская битва, в которой погибла одна тысяча поляков и едва не был захвачен сам король Ян Казимир), Брюховецкий был пожалован в Москве боярским титулом и даже женился на княжне Дарье Исканской из рода Долгоруких, то есть был принят в высший свет Московской Руси. В ответ на такую милость и щедрость Брюховецкий подписал с царским правительством в 1665 году Московские статьи, существенно ограничившие автономию Гетманщины. При этом Брюховецкий письменно даже назвался «холопом Ивашкой», что прежде невыполнимо было для человека подобного ранга.

Следует несколько слов сказать и об этом. Брюховецкий в безудержном ласкательстве и искательстве к царской администрации, преследуя свои выгоды, обнаружил самые постыдные черты малороссийского национального характера — приспособленчество, во главу которого ставилась исключительно личная выгода, и ненасытное приобретение. Следует все же озвучить, чем свежеиспеченный боярин расплачивался с хозяином. Замечу же, что с Переяславских договоренностей не прошло и десяти лет, а люди уже стали другими.

Костомаров пишет об этом:

«Желая угодить Москве, Брюховецкий сам изъявляя желание уничтожить местные привилегии края: так, например, он подал совет уничтожить привилегии

малороссийских городов, уверяя, что мещане тянут на польскую сторону, что между ними бедные истощаются от поборов и подвог, а купцы и богатые на счет бедных наживаются; предложил умножить великорусских воевод, ввести кабацкую продажу вина, сделать перепись народу, установить на великороссийский образец целовальников и прислать митрополита из Москвы, вместо выборного вольными голосами».

Такого угодника, как Брюховецкий, стоило еще поискать Алексею Михайловичу. «Он сам пришел!» — ну как еще раз не вспомнить Светлану Светличную из кинофильма «Бриллиантовая рука»?..

И при всем этом записного московского боярина и «холопа» Брюховецкого многоопытный Дорошенко легко искусил обещанием сделать гетманом всей Южной Руси, — и Брюховецкий... невольничьи отложил от Москвы, изгнал из левобережных городов московских воевод и ступил на проторенную другими гетманами Руины скользкую дорожку предательства. Не остановили его ни боярский кафтан, ни соболья высокая шапка, ни высококордная московская княжна Долгорукова, ни вышеупомянутое низкопоклонство перед Алексеем Михайловичем...

Измена Брюховецкого поразила Москву, как говорится, в самое сердце. Так же через полвека и Петр I будет поражен изменой любимца своего Ивана Мазепы, одного из двух первых кавалеров драгоценного ордена апостола Андрея Первозванного, — ибо все повторяется. Только что прибывшие по Московским статьям в малороссийские города воеводы были частью изгнаны, частью вырезаны и забыты дреколем бунтующего народа. Здесь тоже всякое лыко было в строку: своим универсалом Брюховецкий оповестил весь народ, что московские послы вместе с поляками постановили разорить всю Украину и истребить всех ее жителей от мала до велика. Когда прослышали обо всем этом в Польше, весьма возрадовались, но московским посланникам там давали известный иезуитский совет: «Надобно вашим государям послать войска — выжечь и перебить этих изменников-козаков, чтобы места их были пусты, потому что они вам и нам изменяют, и добра от них не будет!»

Но Дорошенко, опытный плут-дипломат, обманул Брюховецкого: он писал в Варшаву, озвучивая свои настоящие цели, что «сделает так, что обе стороны Днепра будут за королем». Впрочем, настоящие ли? Получается, что и Мехмета IV Дорошенко за нос водил?... Да и с Москвой он не однажды сообщался, умоляя о подданстве и о подмоге, но с известными, весьма существенными оговорками, на которые Москва — особенно после Московских статей с Брюховецким — ни в какую не соглашалась. Так чего же, по сути, хотел Дорошенко? Какие цели преследовал?... Трудно сказать. Вероятнее всего, он жаждал личной власти над всей Южной Русью, — и чтобы никто не мешал — ни поляки, ни турки, ни московские люди. Была ли это своеобразная «самостийность» 17-го столетия, или просто «княжество Русское», как мечталось еще Ивану Выговскому в Гадячских статьях, — трудно ответить. Но гетман, как и предшественники его, уперся со своими предполагаемыми идеями государственного устройства в крошечное, мягко сказать, непонимание общества. Да и странно было бы ожидать «понимания» от Мехмета IV, от короля Яна II Казимира и Алексея Михайловича, — невозможно даже представить себе ситуацию, что кто-то из этих государственных мужей скажет мило-стиво: «Да, Петро Дорофеевич, я все понимаю! Да будет Южная Русь свободна, как днепро-вая чайка!» — а тем более все трое сговорятся полюбовно в пользу свободы и всеобщего русского благоденствия... Только лишь народная соборная русская воля, могучий метафизический порыв могли поддержать правобережного гетмана в его дерзновенной мечте, — но народ не только не «безмолствовал» здесь, по слову Пушкина, но был весьма решительно против его начинаний. Не против, естественно, иллюзорного объединения разделенных Днепром и исторической судьбой частей Южной Руси, но против султана и турок, против татар, — каждый ребенок Южной Руси знал о том, что верить этим ребятам, все равно что пламя засыпать порохом, — беды, страхи и опасения от иноверных южных соседей встроились здесь за века вынужденного соседства в генетический код. С 14-го по 18-й век около пяти миллионов человек было захвачено крымчаками в Южной Руси и продано на невольничьих рынках Стамбула и Кафы... Конечно, там были не только русские с земель польской Украины и Сходних Кресов Речи Посполитой, были там и поляки, и москвиты, и насельники Слобожанщины, и кавказские обитатели, но в основном это были все-таки русские подданные Речи Посполитой... Да и для воинственного Запорожья не было врага злее и памятнее, чем татарин и турок.

Весной 1668 года Алексей Михайлович двинул в Южную Русь на усмирение разгорающегося бунта войско князя Ромодановского, которое осадило Котельву. На помощь Брюховецкому пришли татары, а из-за Днепра шел Дорошенко. Брюховецкий двинулся из Гадяча на соединение с ним. Дорошенко при встрече вдруг неожиданно потребовал, чтобы Брюховецкий отдал свою булаву, знамя и пушки и присягнул

лично ему. Нельзя все же сказать, что это произошло неожиданно для Брюховецкого: еще из Гадяча он пытался напрямую договориться с султаном и спастись под турецким расписным багдахином. Султан согласился на это: лишний карманный гетман ему бы не помешал в геополитической игре с Варшавой и Русью, — и Брюховецкий присягнул на верность Турции. Но такой конкурент вовсе не нужен был Дорошенку, он ведь хотел гетманствовать единолично, и он под предлогом помощи против князя Ромодановского двинулся на самом деле покарать «Ивашку», горе-боярина. 7 июня 1668 года оба гетмана встретились на Сербовом поле близ Диканьки. Брюховецкого преступно схватили свои же казаки и передали в руки Дорошенка. Победитель, такой же турецкоподданный, как и Брюховецкий, приказал приковать того к пушке в ожидании какого-то «справедливого суда», но своевольная толпа набросилась на Брюховецкого и забила до смерти «ружьями, рогатинами и дубьем». Изуродованный труп отвезли в Гадяч и там похоронили со всеми гетманскими почестями.

Тут следует сказать еще несколько слов и о Московских статьях 1665 года, подписанных Брюховецким. Цитирую для краткости Википедию:

«По договору, политические права Войска Запорожского существенно ограничивались, увеличивалась его финансовая и военно-административная зависимость от России. Малороссийские города и земли провозглашались прямыми владениями царя. Гетману запрещалось вступать в дипломатические сношения с иностранными государствами, а выборы гетмана должны были проходить только с разрешения царя и в присутствии русских послов. Для получения клеймодов, новоизбранный гетман был обязан ехать в Москву. Увеличивалось количество царских войск на Украине, которые должны были содержаться за счет местного населения. За сбор налогов перенимали ответственность русские воеводы. Одновременно Киевская митрополия переходила в подчинение к Московскому патриархату...»

Такой договор был подобен смертному приговору для человека, его подписавшего. Чем все это, выше исчисленное, отличалось от того, прежнего, собственно польского, от чего уходил Богдан Хмельницкий всего-то десять лет назад, порывая навсегда с Речью Посполитой и польскими королями? Да ничем совершенно. И вот, всего через два года после этой полной политической капитуляции, Брюховецкий «выбирает свободу»... Ну не странно ли?.. Разве не собственными руками южнорусские гетманы выкапывали ту глубокую смертную яму, о которой спустя 150-200 лет лили слезы украинские патриоты вроде Тараса Шевченка и его нынешние эпигоны?..

*Це чому ти, шельмо пруська, Січ нам зруйнувала
Катерино, вража дівка, що ж ти наробила,
Ти Січ нашу, Запорізьку, ти святиню вбила.
Встань, Богдане, із могили, спам'ятай царицю,
Козаків всіх розігнала, кошових — в в'язницю
Розійшлися козаченьки по Дону й Кубані,
Кінець вольниці козацькій, не буде гетьманів...*

Марка... Как же без марки... Да, и Брюховецкого Почта Украины запечатлела на памятной марке в 2002 году. Память о нем сохранилась в названии станицы Брюховецкой на Кубани, куда в самом конце 18-го столетия переселились казаки Черноморского войска.

Тем временем Петр Дорошенко продолжал свою игру, или борьбу, как он ее понимал, за объединение южнорусских земель в единое целое. Он поднял мятеж против короны и открыто объявил себя подданным турецкого султана, что ознаменовало начало польско-козацко-татарской войны 1666-1671 годов. Напрасно писал в Чигирин митрополиту Иосифу Туптальскому, разделяющему политику Дорошенка, местоблюститель Киевского престола архиепископ Лазарь Баранович в надежде предотвратить катастрофу: «Под басурманскою рукою стонет Греция и по настоящее время, и самих патриархов вешают: о, невольная вольность! И для чего под такое ярмо класть шею? Греки рады бы освободиться от него, Русь сама лезет».

Крупное крымско-козацкое войско в битве под Браиловом нанесло поражение польскому отряду Себастьяна Маховского и опустошило окрестности Львова, Люблина и Каменца, захватив 40000 пленных, которые, естественно, были проданы на невольничьих рынках Крыма. Чуть ранее крымские татары разорили часть Левобережья. Москва, наученная горьким опытом с прежними гетманами Левобережья, весьма опасалась контактов козацкой старшины с турецкими и татарскими эмиссарами и ее перехода под протекцию Стамбула по сценарию Дорошенка и Брюховецкого. К тому же обе стороны были крайне истощены 13-летней изнурительной и довольно бесплодной войной. Киевский историк Наталья Яковенко весьма точно и образно говорит, что война закончилась по очень простой причине — просто некого было уже убивать... На долгие десятилетия земли между Днепром и Днестром превратились в пустыню, усеянную бесчисленными человеческими костями. И дабы не было ни у кого

искушений, позже была достигнута дипломатическая договоренность между Речью Посполитой, Турцией и Россией, что эти земли навсегда останутся незаселенными.

Общая угроза крымских набегов и турецкой экспансии заставили Речь Посполитую и Московскую Русь возобновить переговоры о мире. Андрусовское перемирие 1667 года, закрепившее уже на века фактическое разделение Южной Руси, — козацкую делегацию снова устранили от участия в этих переговорах, — вызвало крайне негативную оценку тех, кого оно непосредственно касалось, а именно козацкой старшины обоих днепровских берегов, еще помнившей статьи Переяславского договора, и Запорожского войска, утратившего последние надежды на объединение края под властью царя. Часть запорожцев, чаявших объединения Малороссии в единое целое, встала под хоругви гетмана Дорошенко, тем более что обнаруженные Москвой попытки централизации (Московские статьи 1665 года, подписанные «холопом Ивашкой» и пренебрежение козаками в Андрусове) весьма напрягали и настораживали запорожцев. В народе ширилось всеобщее недовольство, усугубляемое целой армией воевод и стрельцов, прибывших из Москвы и разместившихся по всем войсковым городам и местечкам Левобережья по настоятельным просьбам все того же Брюховецкого. Сам Дорошенко не иначе оценивал перемирие, как «государи на части разорвали Украину». Но при этом его протурецкие настроения и политика отвращали от него народ. В декабре 1671 года, когда войско Речи Посполитой стало отвоевывать у Дорошенка города, в Варшаву была прислана султанская грамота, требовавшая, чтобы Речь Посполитая отказалась от претензий на правобережные русские земли. Весной 1672 года султан Мехмед IV с громадной армией, подкрепленной крымскими ордами и козацкими отрядами Дорошенко, вторгся в Подольское воеводство и Галичину, принудил к сдаче Каменец-Подольский, жители которого были частью уничтожены, частью захвачены в рабство, и осадил Львов. Речь Посполитая была вынуждена заключить с султаном Бучацкий договор, по которому отказывалась от Правобережной Руси-Украины. Между тем население, нещадно разоряемое крымскими татарами и турками, массово переселялось в Слобожанщину, и край, подчиненный Дорошенку, день ото дня пустел. Дорошенко пытался не только уговорами и обещаниями, но и грубой силой приостановить нескончаемый миграционный поток в Слобожанщину. Вот что пишет об этом Михаил Грушевский в «Истории украинского народа»:

«Дорошенку это запустение Украины наносило последний удар; напрасно он прибежал к крайним мерам террора — громил ватаги переселенцев, отдавал их в неволю татарам — эмиграция шла со стихийной силой, и уже в 1675 году Самойлович (гетман Левобережной Украины) доносил в Москву, что за Днпром осталось очень мало населения».

А вот еще одно печальное свидетельство о том же 1675 годе:

«Сам Чигирин, по свидетельствам очевидцев, превратился в какой-то страшный невольничий рынок: татары публично перепродавали захваченный на левом берегу христианский полон, в чем им, как рассказывают, помогли сами чигиринцы. Город страдал от недостатка хлеба, не сеяли уже два года, а окрестности терроризировали голодные отряды татар. Все проклинали гетмана...» — так пишет историк Наталья Яковенко.

Или вот еще ужасающие подробности захвата Умани, поведенные одним из ранних малороссийских историков 19-го столетия:

«Турки старались преклонить уманцев к добровольной сдаче, но убеждения были тщетны. Подкопы и пальба разрушили укрепления, враги овладели городом, началась резня в улицах, стрельба из окон и дверей; сражающиеся, но непривычные к оружию жители, женщины, дети были без пощады избиты, трупы валялись кучами; в местах, где стычки были упорнее и сражающиеся многолюднее, кровь текла ручьями по отлогостям гористых уманских улиц... Чтобы не оскверняли стоп султана усопшие христиане — могилы были разрыты, гробы вынуты из земли и увезены далеко за город. Улицы были грязны; из всех церквей, кроме Екатерининской и Армянской, взяты были образа и устроена из них мостовая. Потом все храмы обращены были в мечети. На соборной церкви, известной под названием Фара, турки выстроили из резного камня минарет выше самой церкви; оттуда мулла призывал правоверных к молению Богу единому и Магомету — пророку его... Султан вошел в Чигирин торжественно, и все пред ним падало и ползало по-азиатски. Церковные колокола замолкли, самые церкви были заперты и запечатаны; не смел никто шевелиться ни по богослужению, ни по жительству, не считая себя ни живым, ни мертвым. Турки же делали с мужчинами и женщинами, что только вздумали... (В Умани) с живых городских и козацких старшин были содраны кожи: Дорошенко велел их набить соломой и отправил к султану, где эти чучелы были разставлены в знак победы. Несколько тысяч мальчиков были повержены Дорошенком к стопам Магомета IV-го, который немедленно велел обратить их в исламизм» (Маркевич Н. «История Малой России». М., 1842).

С территории Каменецкого вилайета только в 1673 году было вывезено 800 мальчиков — в гаремы и в янычарские полки.

Также следует упомянуть и о странной, мягко говоря, ситуации, сложившейся между 1669 и 1674 годами, когда на разделенных землях Руси-Украины начальствовали сразу три гетмана: на Левобережье — после гибели Брюховецкого — Демьян Многогрешный, которого в свою очередь сменил Иван Самойлович, а на Правобережье — одновременно — Петр Дорошенко и Михаил Ханенко, которого даже признало правительство Речи Посполитой, питавшее иллюзорные надежды, что он выработает приемлемые условия, на которых Русь-Украина снова станет неотъемлемой частью польского федеративного государства. Понятно, что оба правобережных гетмана затеяли друг против друга войну. Ханенко потерпел в ней поражение и едва спасся на Запорожье. В его разгромленном под местечком Стебловым войске был захвачен в плен Юраско Хмельницкий, сбросивший к тому времени монашеский куколь, — Юрия отправили в Константинополь, где он содержался в Семибашенном замке, Едикуле. Сам Ханенко в 1674 году явился к гетману Самойловичу, сдал ему знаки гетманского достоинства и принял московское подданство. Взамен имений на правом берегу Днепра Ханенко получил значительные поместья на Левобережье. После этого он жил частным человеком в Козельце, Лохвице и Киеве. Время и место его смерти неизвестны по некоей незначительности как власти, так и деяний, но Почта Украины и его почтила памятной маркой в 2001 году.

Следует сказать несколько слов и о гетмане Войска Запорожского на Левобережье Демьяне Игнатовиче Многогрешном, преемнике гетмана Ивана Брюховецкого. Он правил всего три года, с 1669 по 1672 год. Воевал, оборонял, был послушен Москве, как и предшественники его. Но при всем том будучи человеком горячим, запальчивым и невоздержанным на язык, особенно во хмелю, он быстро нажил врагов себе среди старшины, был оговорен, схвачен и доставлен в Москву, где приговорен к смертной казни. Когда он стоял вместе с братом в ожидании казни на смертном помосте, было зачитано пространное обвинение, которое я привожу в изложении Николая Костомарова:

«В этом приговоре, обращенном к лицу «изменника и клятвoprеступника Демка Игнатовича», говорилось, что Демьян Игнатович забыл Господа Бога и прежнее государево к себе жалованье и умыслил отдаться турецкому султану, чтоб невинных христиан отдать в вечную и нестерпимую бусурманскую неволю, ссылаясь об этом с гетманом той стороны Днепра Дорошенко и на том учинил с ним присягу. Ему ставили в осуждение еще и то, что он хотел поссорить великого государя с братом его, польским королем, овладел неправильно некоторыми местами в поветах Мозырьском и Речицком и ложно сообщал царю, будто это сделано по приговору старшин. Сверх того, говорил он в Батурине московским присланным людем — подьячему Михаилу Савину, стрелецкому полуголове Александру Танееву и подьячему Щоголеву непристойные речи о царском величестве, будто царь хочет Киев и всех малороссийских жителей отдавать польскому королю, грозил после Пасхи идти войною на Московское государство в соединении с турками и татарами... Старшины, не допуская до конечной измены, поймали его и доставили в Москву, а он под пыткой «во всех своих изменных словах винился». По желанию старшин, полковников, всего Войска Запорожского сей стороны Днепра со всем народом малороссийским, великий государь указал ему учинить смертную казнь...»

Головы братьев Многогрешных уже лежали на плахе и топор палача был уже занесен для удара, но тут царский вестник принес на Болотную площадь приказ о помиловании. Бывшего гетмана сослали под Кяхту, в Бурятию, где он прожил до смерти в 1703 году, воюя с монголами и неся различные войсковые заботы.

Надо ли помянуть здесь о том, что Демьян Многогрешный увековечен и на марке Почты Украины в 2002 году?..

Новый гетман Левобережной Руси-Украины, Иван Самойлович, пользуясь тем, что Бучацкий договор освободил московское правительство от обязательств, налагавшихся на него Андрусовским трактатом, вместе с воеводой Ромодановским переправился в том же 1674 году через Днепр; правобережные полки почти все перешли на его сторону; на раде в Переяславле Самойловича провозгласили гетманом обеих сторон Днепра. Когда же Самойлович и Ромодановский опять перешли через Днепр, Дорошенко заперся в Чигирине и позвал на помощь турок, перед которыми московско-козацкое войско поспешно отступило. Передавшиеся было Самойловичу города и местечки подверглись страшному разорению.

Вот несколько цитат из костомаровской «Руины», выхваченных едва ли не наугад, характеризующих «внутреннюю политику» Петра Дорошенка:

«...между тем к нему пришло 4000 татар, и он, отобрав часть этой орды, поручил брату своему Андрею подчинять отпавшие от него города. Местечки Балаклея и

Орловка сдалась без боя, поверивши обещаниям помилования, но гетман Дорошенко всех жителей этих местечек приказал отдавать в неволю татарам. Говорили даже, что после занятия этих местечек тамошним старшинам буравили глаза...»

И перед самой сдачей на московскую милость Дорошенко не унимался:

«[Московские] предводители решили, что небезопасно дожидаться хана, 10 августа приказали зажечь свой табор и снялись, а 12-го дошли до Черкасс. Крымский хан через день по отступлении русского войска был встречен Дорошенком за десять верст от Чигирина и на первых порах, в виде приветственного дара, получил от гетмана человек до двухсот невольников из левобережных козаков, а для всех своих татар — дозволение брать сколько угодно людей в неволю из окрестностей Чигирина за то, что жители с приходом русских войск отпали от Дорошенка. Вслед за тем хан погнался за отступившими от Чигирина русскими, Дорошенко стал в Корсуне; ему оставлено было татар, как говорят, тысяч до десяти. Тут услышал Дорошенко, что тысяч более десяти прочан [переселенцев] едут из Побужья и Поднестрья обозом, направляясь за Днепр. Дорошенко с татарами перегородил им путь под Смелюю; прочане стали было сопротивляться. Дорошенко приказал их всех рубить, не разбирая ни пола, ни возраста, а тех, которые не сопротивлялись и сразу покорились, отдал татарам в неволю... Вдобавок турецкий султан приказал Дорошенку послать в Турцию 500 мальчиков и девочек до пятнадцатилетнего возраста, и это возмутило против Дорошенка самых близких людей, даже тестя его Яненка, так что Дорошенко вышел из Чигирина и скрывался три дня в лесу с своими верными серденьятами, пока не улеглось волнение в городе. Память об этой кровавой эпохе народного бедствия, когда сами туземные власти отдавали в бусурманскую неволю малороссиян сотнями и тысячами, отразилась в народной поэзии в форме аллегорических песен...»

Власть Дорошенко становилась все более ненавистной народу; лишь путем насилий, доходивших до зверства, удерживал он ее за собой. Ввиду неминуемого падения, Дорошенко решил наконец-то подчиниться Москве, но хотел сохранить за собой каким-то образом гетманское достоинство. При этом он весьма опасался попасть в руки Самойловича. С целью посредничества и заступничества перед Москвой он обратился к знаменитому запорожскому кошевому Ивану Сирку. Но Сирко уже был бессилён помочь. Конец его горького гетманства был предрешен.

«Деятельность Дорошенко не только не привела к осуществлению им плана, но сделала его еще более недостижимым. Разорение западной Малороссии надолго лишило ее всякого еще самостоятельного значения, приведя ее в состояние, близкое к пустыне», — такой вывод сделал В. Мякотин, автор статьи о Петре Дорошенко в «Биографическом словаре» Брокгауза и Эфрона.

В 1676 году, осенью, Чигирин снова осадили войска Самойловича и Ромодановского — и Дорошенко наконец сдался. Но его отнюдь не казнили, как следовало бы того ожидать либо от Самойловича, либо от московских царей, пришедших на смену умершему к этому времени Алексею Михайловичу. Более того, и читаю я о том с удивлением:

«Дорошенко не противился и не роптал, переехал на левую сторону с женою и с братом Андреем 1 ноября 1676 года и прежде всего прибыл в Батурин. Самойлович встретил его чрезвычайно радушно и по поводу приезда его три дня пировал. Прежние враги, казалось, стали грузьями. Дорошенко просил дозволить ему жить как возможно поближе к гетману, и Самойлович назначил ему жить в Соснице. Там приготовляли Дорошенку двор, куда привезли из Чигирина 30 звукожных возов с его пожитками, а при дворе назначено было 15 душ челяди. Гетман дал Дорошенковой матери на прокормление доходы с чигиринских мельниц. Кроме матери, остались на прежних местах жительства тесть Дорошенка Яненко и двоюродный брат Кондрат Тарасенко с некоторыми бывшими старшинами... С приездом жены переведен во двор Григория Никитина; однако жаловался, что в этом новом помещении его беспокоит дым и течь. Тогда Дорошенку купили двор за 700 рублей и назначали построить новый дом о девяти покоях...» (Н.Костомаров, «Руина»).

Но не успел пленный гетман насладиться заслуженным отдыхом и покоем от своих ратных трудов, как царь Федор III Алексеевич, унаследовавший престол после смерти отца, призвал его приехать в Москву и предстать пред ясны очи свои. Самойлович весьма сопротивлялся отъезду прежнего недруга, но царское слово было крепко. И Дорошенко уже навсегда простился с родными пределами. Спустя полгода, проведенные в Москве, он написал челобитную с недоуменным вопросом: отпустят ли его назад в Украину или суждено ему остаться в Москве? И если ему суждено последнее, то он просил о пожаловании его деревней. Ему назначили с семейством и со всею прислугою в числе 24 человек поденный корм, что составляло в год 936 рублей 16 алтын, и обещали деревню.

Но уже в следующем 1679 году он был отправлен воеводой в глубинный россий-

ский город Хлынов, который мы знаем сегодня под именем Вятки, или Кирова, уже по советской терминологии, где был грозный враг Московской Руси прослужил верой и правдой до кончины Федора III в 1682 году. После возвращения из Хлынова, в 1684 году, он получил в дар за безусловную службу подмосковное село Ярополец с приселками и деревнями по Указу царевны-регентши Софьи Алексеевны от имени царей, государей и великих князей Ивана V и Петра I «вместо денежного жалования, что ему давано по 1000 рублей». Дорошенко прожил здесь на покое 13 лет, здесь же и умер 19 ноября 1697 года.

Надпись на памятнике над могилой в центре села на старинном погосте гласит: «Лета 7206, ноября в 9 день преставился раб Божий, Гетман Войска Запорожского Петр Дорофеев сын Дорошенко, а поживе от рождества своего 71 год, а положен бысть на сем месте». Над его могилой по распоряжению святителя Димитрия Туптало, архиепископа Ростовского, отец которого служил вместе с Дорошенко, воздвигли часовню, стараниями же Ростовского святителя, составителя знаменитого свода православных святых, здесь в дни его памяти служились панихиды об упокоении души раба Божьего Петра... Ярополец сей унаследовала внучка Дорошенка, Екатерина Александровна, которая вышла замуж за генерала Александра Загряжского, и Ярополец стал ее приданным. Через Загряжских прапраправнучками гетмана стали Наталья Гончарова, жена Александра Пушкина, и Идалия Полетика, знаменитая светская львица 19-го столетия.

Вот такая непростая история...

Ну и марка, конечно же, выпущенная в 1998 году...

Тут стоило бы, вероятно, порассуждать о такой мягкости, если не милости, московских царей по отношению к своему злейшему врагу, которым, без всякого сомнения, являлся Петр Дорошенко. Нам, прошедшим со страшными потерями через кровавый и бессмысленный 20 век, когда просто за неосторожное слово можно было расстаться с жизнью, да и без слова всякого вовсе, удивительно знать и читать отнюдь не о лютых казни с четвертованием и отсечением головы, как того ожидалось по естественной логике, и даже не о ссылке в Сибирь, как в случае с полковником переяславским Цецурой и гетманом Демьяном Многогрешным, закончившим свои дни на границе с Китаем в городке Селенгинске, а просто о некоей милости, даже чести, оказанной царевной-регентшей Софьей и малолетними царями правобережному гетману, руки которого были обогреты кровью невинных тысяч и тысяч его же сограждан и братьев, православных русинов и козаков, а также и московских стрельцов, гражданских и военных преступлений которого невозможно даже исчислить, не то что понять, а тем более оправдать. Дорошенко никак не наказан, напротив — даже наделен первоклассной и прибыльной должностью воеводы крупного торгового города; затем живет на покое в пожалованном ему за верную службу вотчине под Волоколамском, с немалой «тысячей дворов», где и умирает в «елее мастите» и в «долготе дней»... Как это понять?

Конечно, следует отбросить нашу нынешнюю примитивную логику рабства и подчинения слепой государственной машине и как-то умозрительно возвыситься над сложившейся ситуацией. Да, Петр Дорошенко не был подданным Москвы по Переяславским договоренностям, он даже родился на правом, Русском берегу Днепра, в Чигирине, на самой границе рокового разделения Южной Руси. Правда, и понятие «подданства» в те времена было довольно размытым. Отважно воевал во время Хмельниччины, но Переяславских договоренностей не принял. Следовательно, в отличие от Цецеры, Выговского, молодого Хмельницкого и Брюховецкого, которые находились под протекторатом Москвы, или, скажем по-простому, на службе ее, он *не предавал* Москву и *не изменял* московской присяге, — ни к первой, ни ко второй он не имел отношения. И потом, измены Цецеры, Выговского, Хмельницкого и Брюховецкого принесли невероятные и роковые потери как для Москвы, так и в целом для Гетманщины, — Выговский же просто ввергнул в гражданскую войну всю Южную Русь на десятилетия. (Демьян Многогрешный пострадал только лишь за «слова», до дел не дошло). Дорошенко проводил какую-то свою, довольно невнятную политику, используя подручные средства — поляков, султана, татар, бесконечные переговоры с Москвой с намерением принять подданство... Да, может быть, он косвенно способствовал измене «боярина» Брюховецкого, завлекая того пустыми честолюбивыми обещаниями и иллюзорными надеждами, — впрочем, мог бы «боярин» и поумнее все-таки быть... Прямой вины нет вроде бы никакой... Хотя при Сталине и при Брежневеве того было бы более, чем достаточно. Но снова — это наша такая вот убогая, выморочная логика, мой историко-политический крен и занос. Не вытравить из нас горький опыт 20 века... В 1676 году Дорошенко стал военнопленным, взятым в бою и с немалыми сложностями, — по рыцарским понятиям того времени, свою честь он сохранил. Еще в конце 19-го столетия русские офицеры следовали таким вот традициям — у плененных вражеских офицеров даже сабли не отбирали, принимали их в своем офицерском кругу, со всеми

регалиями, мило беседовали по-французски, угощали вином... Все эти благородные традиции были погребены невиданной бесчеловечностью Великой войны 1914-1918 годов, задавшей тон всему последующему веку. К тому же в плену Дорошенко принес наконец-то присягу на верность Москве и ее не нарушил до смерти. Его отправили, само собой разумеется, подальше от южнорусских искушений и бед, в далекую даль, в дремучие леса над Вяткой-рекой. Но при всем этом достоинства бывшего гетмана перевесили многие его прегрешения, и царская администрация вполне оценила военные дарования, таланты и его несгибаемую стойкость в противостоянии ударам судьбы. Нарождающаяся империя нуждалась в подобных людях — сильных духом, отчаянных, профессиональных воинов, закаленных во множестве битв. Неуклонно разрастающаяся и укрепляющаяся империя интегрировала своих прошлых, побежденных врагов, используя их потенциал. Примерно так же обстояло дело и в середине 19 столетия после подавления череды польских восстаний — побежденные наводнили русскую армию, министерства, университеты и школы, успешно делали карьеры и достигали известных высот, при этом во всем оставаясь, в сокровенной своей глубине, по сути, врагами империи. Ну, о том мне еще предстоит рассказать.

Когда Петр Дорошенко предавался под власть Мехмета IV, некоторые знаковые события произошли и с Юрием Хмельницким. Султану показалось маловато иметь у себя в подданстве и подчинении двух гетманов, Дорошенка и Брюховецкого, и он запасся еще одним кандидатом, — носитель славной фамилии, озаренный воинской славой отца, да и к тому времени уже «дважды гетман» Руси-Украины, как промосковский, так и пропольской, стал некоей разменной монетой и знатным заложником в Стамбуле. Юрий, как считалось, вполне разделял текущую политику Петра Дорошенка, хотя и был взят в бою против последнего в разгромленном войске ставленника Варшавы гетмана Ханенка. Но взгляды его на предполагаемую будущность родины все же были вполне созерцательными, в отличие от активной жизненной позиции Дорошенка, если почитать за таковую те многочисленные кровавые жертвы, принесенные им на алтарь своей заветной мечты. Пленного Юрия захватили татары белгородской орды, находившейся под властью силистрийского паши, и отправили ценным подарком в Стамбул, где он прожил несколько лет — по одним данным, в Семибашенном замке Едикале, по другим — в одном из греческих монастырей, пока не пробил опять его час — в третий уже раз — стать правобережным гетманом, сменив раскаявшегося будущего хлыновского воеводу и подмосковного барина. В 1677 году султан Мехмет IV двинул на разоренную Русь-Украину несметное войско. В нем находился и наш Юраско Хмельницкий, некогда монах Гедеон, — константинопольский патриарх по требованию султана снял с него монашеские обеты, — тогда-то он в третий раз принял в руки гетманскую булаву. Но власть его была чисто номинативной и расценивалась султаном по-своему — властителем настоящим считался, разумеется, сам Мехмет IV, Юрий же только номинально числился гетманом Запорожским, будучи вассалом султана. В утешение к иллюзорному званию гетмана султан пристегнул еще и титул князя Сарматского, совершенно ничего не означающий и ни к чему не обязывающий. Роль Юрия была преддешена и однозначна. К этому времени, по условиям Бучачского мира 1672 года, Речь Посполитая уступила Османской империи практически одну треть своей территории, в частности всю Подолию, преобразованную турками в вилайет. Кроме того, новый польский король Михаил Корибут Вишневецкий обязался выплачивать Стамбулу ежегодную дань в размере 22000 талеров. Турецкое владычество продолжалось здесь до 1699 года. К слову сказать, наши родовые — как я весьма самонадеянно предполагаю — места были преобразованы в Язловецкий санджак, один из четырех тамошних санджаков Подольского, прости Господи, пашалыка. Поход турок в 1677 году был неудачен. Сам Юрий вроде бы даже помышлял о побеге к христианам, — польским ли, русским ли, но подальше от этой позорной опеки магометан, — все-таки он был хоть и худым, но православным человеком, можно сказать, даже монахом несмотря ни на что. В гетманство Выговского он даже закончил Киево-Могилянскую академию, просветился весьма в контексте того громокипящего времени. Был сыном великого южнорусского деятеля и воина, заложившего на Руси-Украине новые принципы государственности, какой бы она ни была. Разве могла душа Юрия-Гедеона смириться с подобным жизненным переплетом, в котором он очутился по воле судьбы? Предав однажды Москву, все-таки единоверную и благословленную некогда великим отцом, разве мог он сохранить верность Мехмету IV? Но и турки знали о том и не питали особых иллюзий по его поводу, потому за Юрием был весьма крепкий пригляд. В 1678 году турки снова двинулись на Правобережье. Родной Чигирин, столица правобережных гетманов, защищаемый русскими войсками и левобережными козаками гетмана Самойловича, был крепко обложен, а затем и взят турками с боем. На глазах у Юрия город подвергся тотальному разрушению, а жители истреблению. Как тут не вспомнить было ему, как в 1664 году герой Речи Посполитой, воспетый в польской ли-

тературе и в кинофильмах 20 века, Стефан Чарнецкий сжег и разграбил их родовой хутор Суботов. Польский герой в последний год своей собственной жизни в бессильной ярости мстил даже усопшим Хмельницким: разрушил гробницы Богдана и Тимоша, старшего брата Юрия-Гедеона, и останки их приказал выбросить на рыночную площадь собакам. Сам Чарнецкий погиб спустя год от огнестрельной раны при осаде Ставища, и сегодня почитается в Польше национальным героем, спасшим Речь Посполитую в кровавом Шведском Потопе. Его имя упоминается даже в государственном гимне страны:

*Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
(Как Чарнецкий в Познань,
После шведской оккупации,
Для спасения родины
Вернёмся через море).*

«Был известен особой жестокостью при подавлении антипольских восстаний на Украине» — так по-простому непритязательно рассказывает о Стефане Чарнецком Википедия.

Тогда же, в 1678 году, московские войска и козаки Самойловича отступили от Чигирина за Днепр. Картины расправ и разорения его родного города, по всей вероятности, потрясли впечатлительную натуру Юраска — ведь все здесь было близким, знакомым, все напоминало о детстве и юности, о брате и об отце, да и о разорении родных могил, которых не было больше, — теперь же здесь зверствовали турки с татарами, хозяева этой земли и союзники... Кем же был ныне сам Юрий? Их помощником и сотоварищем? Было над чем задуматься и что осознать. Вряд ли эти бесконечные страдания, которые он опять воочию видел, оставили его безучастным. Вряд ли он только и пекся, что о своей никакой гетманской власти и об игрушечной, позолоченной булаве, и ничего не замечал в бывшей гетманской столице, лежащей в дымящихся руинах. Сознание его явно раздваивалось и рассудок, по всей видимости, помутился. Хотя и прежде еще, во времена Чуднова и перехода на польскую сторону, он уже заламывал в отчаянии руки, хотел сложить с себя гетманские полномочия и постричься в монахи, — все это свидетельствовало как о его человеческой незрелости, так и об обостренной, болезненной впечатлительности. С течением времени, наполненным до краев тяжкими испытаниями, потерями, многолетними заточениями в темницах, всяческими унижениями и пребыванием в монашеской келье, эти особенности характера развели как разум его, так и душу. Затаенные до времени страсти, вовсе не усмирённые монастырскими службами и послушаниями, подобно языкам подземного пламени, вырывались наружу, обжигали душу его. Нежданная, дарованная султаном власть была смертельно опасна, как бритва в руках сумасшедшего для окружающих.

После разорения Чигирина новой столицей Правобережья и Подольского пашалыка стал город Немиров, где вместе с гетманом-горемыкой пребывал и турецкий паша. Юрий подписывал свои универсалы и распоряжения весьма затейливо — Гедеон Георгий-Венжик Хмельницкий, князь Сарматский и гетман Запорожский, — народ же прозывал его по-прежнему просто Юраском...

Конечно, в этих своих изысканиях я пытаюсь буквально вслепую нащупать причины и поводы, которые прояснили бы последовавшие вскоре жестокости, казни и зверства, превзошедшие по неистовству даже весьма безжалостный 17 век, и эти догадки мои про помутнение разума Юрия во время очередного разорения Чигирина вполне произвольны и, конечно же, спорны. Но как объяснить то, что происходило в Немирове? Груз ли отцовского имени и ущемленное самолюбие слабого человека? Полнота и неподсудность власти, которую он опять получил над безмолвствующими русинами, его безнаказанность, его отчаяние в спасении собственной души после всего того, что он натворил? Ведь все-таки — даже при легковесном к тому отношении — он принял монашеский постриг, принес вольные обеты Богу, — и как бы ни снимал турецкий испуганный патриарх по приказу Мехмета IV их с несчастного Гедеона, монашеский венец все же оставался у него на челе, как оставалось и монашеское имя. Но нет никаких внятных объяснений. Источники недостоверны, зыбки, слухи порой просто невероятны, но при всей фантастичности их, при всех преувеличениях, злокозненности и недоброй памяти, оставленной Юраском в веках, суть остается все той же: все исчисленное произошло, и все это, к сожалению, было.

Пять лет начальствования Юраска в Немирове над «турецкой Русью-Украиной» омрачались нескончаемыми бессудными казнями, отчуждением имущества у состоятельных граждан и прочими нравственными и уголовными преступлениями.

Что же он сделал или хотя бы попытался сделать для водворения мира и спокойствия развороченного края, своей родины Украины-Руси, за которую под освободительными хоругвями его отца сотни тысяч козаков, посполитых и мещан отдавали свои драгоценные жизни, не считаясь ни с чем, ради будущего этой земли и потомков своих?.. Ровным счетом ничего.

Петр Дорошенко, сдавшийся Самойловичу, предупредил гетмана, «что султан держит Юраска Хмельниченка не для чего иного, как для того, чтобы его провозгласить козацким гетманом под турецкою верховною властью, и теперь сделает это, когда Дорошенко от него отпал; уже назначена сумма 15000 червонцев на подкуп, чтобы склонить запорожцев на сторону Хмельниченка... Затеявая поход на левую сторону Днепра, Юраска послал немировского сотника Берендея к крымскому хану просить присылки орды. Юраска в особенности злился на запорожцев: «Кабы мне, — говорил он, — хоть бы их 1000 человек из Коша удалось выманить, тотчас бы заслал их к турецкому султану на каторги».

Это ли — государственный ум?.. Это ли — монашеское духовное и душевное устроение? А ведь, просвещенный в свое время в Киево-Могилянской академии, он вполне знал и понимал, что такое грех, что такое преступление заповедей Божиих, что подразумевается под спасением души и в чем состоит цель жизни христианина... Характерны увещевания против Юрия Ивана Самойловича в весьма сильных выражениях, который в своих универсалах призывал «не верить обманчивым прельщениям расстриги, который попрал христианский закон, предания церкви и угождает бусурманам». Костомаров сообщает, что в конце его бесславного гетманства в Немирове *«при Юраске оставалось только 80 малороссиян козаков; кроме них, было у него татар 800, волохов 200 и 28 сербов. Татары и турки, надеясь на потачку со стороны Хмельницкого, бесчинствовали, хватали и били жителей; одним словом, — говорил один современник-немировец, — у нас такая неволя, что и в турецкой земле горше быть не может. Гетману Самойловичу сообщали, что немировцы только того и желают, чтоб козаки и московские войска пришли освободить их...»*

Продолжу весьма выборочно цитировать костомаровскую «Руину»:

«Один живший в Молдавии афонский архимандрит через письмо советовал Самойловичу исходатайствовать у московского царя обещание милости Хмельницкому, если он поддастся великому государю. «Подайте ему хлеб, — писал архимандрит, — и уверьте его царским именем, что ему обиды не будет. Он, бедный, всякий день и час жалеет о христианстве. Я сам с ним беседовал. Отче, говорил он мне, я беду терплю, а с турком в войске игу! Что мне делать, невольнику? Что велят, то и приходится делать! Хочется Хмельницкому к вам, только боится Сибири. Выпроси у государя обещание милости и увидишь, какая срамота постигнет турок и как они сердце потеряют». Самойлович сообщил об этом совете в Москву, последовала царская грамота, где было сказано, что Самойлович в этом деле может поступать по-своему...» — но дело ничем не закончилось.

«Хмельницкий и прежде держался единственно турецким страхом, а добровольно малороссияне к нему не шли. Теперь же, владея незначительным населением в Подолии, он окончательно вооружил против себя всех своею алчностью и жестокостью. Во дворе у него выкопана была яма сажень 20 глубиною, и в такой яме перебивали почти все зажиточные подданные, особенно бывшие орандари, державшие откупы при польском владении и успешные зашибить себе деньги; с кого захочет сорвать, того прикажет схватить, бросить в яму и держать, пока тот для своего избавления не отдаст всего, что у него есть; других приказывал бить палками, и немировскому сотнику Берендею, верно служившему Юраске, дано было 300 ударов по подошвам, отчего тот чуть не умер»...

Прибавить ко всему этому спорадические смертные казни, на которые в неистовстве обрекал гетман случайно попавших под руку людей, бессмысленные кровавые рейды на Левобережье, — что же от монашеского делания или от государственного разума здесь остается? По-видимому, и турки разочаровались в Хмельницком как в человеке, неспособном укрепить в должной мере «турецкую Украину» в целом и Подольский пашалык в частности. Последней каплей, переполнившей чашу надежды и терпения турок, стала страшная казнь жены некоего богатого и хорошо известного в крае еврея Оруна, которую Юраско, по свидетельству летописи Величка, обвинил в неправомерной женитьбе сына и за то «облупил», т.е. содрал с нее кожу, в припадке неистовства. Орун принес жалобу в Каменец туркам, султан отстранил Юраска от гетманства, его арестовали и в сопровождении крепкого караула доставили то ли в Каменец, то ли в Константинополь, где он не смог оправдаться ни в этом преступлении, ни в других, которые вменялись ему в вину. Это произошло в 1681 году. Костомаров, на основании летописи Величка, утверждает, что «трое пашей вывезли Юраска из Каменца к Дунаю, у конца моста дунайского произнесли ему смертный приговор, а янычары, по данному

приказанию, накинули ему на шею снурок и удавили».

В Википедии представлена насколько другая картина:

«Постоянные поборы, взыскания, казни в припадках умопомешательства заставили турецкое правительство отстранить в 1681 году Юрия Хмельницкого от гетманства. На его место был назначен молдавский господарь Дука, но в конце 1683 года он был захвачен в плен поляками, а на его место снова был назначен Юрий Хмельницкий. Постоянные бесцельные казни и угнетения народа заставили турецкого пашу арестовать Юрия. В конце 1685 года он был привезен в Каменец-Подольский, приговорен к смертной казни и задушен, а труп его брошен в воду».

Говоря другими словами, про четвертое по счету гетманство Юрия Костомаров просто не знал. Но зато он приводит весьма интересную и показательную легенду, как образ сына Богдана Хмельницкого трансформировался в соборной народной памяти:

«Но, вероятно, расправа над Хмельницким произошла не на Дунае, а в Константинополе, — говорит Костомаров, — потому что посланный в Турцию от польского короля Гольчевский, в октябре 1681 года, встретил Юраску на дороге в Константинополь; его вели 50 турок, а с ним было несколько козаков; он казался очень хворым, и говорили, что обещал он принять ислам. В народе сложилась о Юраске такая легенда. Когда турки проводили Юраску к Чигирину, то, подступивши к Суботову, ви- зирь приказал ему выстрелить из пушки в верх церкви, построенной Богданом Хмель- ницким, и тем доказать, что он искренно побасурманился. Юраска сделал угодное мусульманам и услышал над собою такой Божий приговор: проклят ты, и земля тебя не примет, и будешь ты скитаться по земле ни живым, ни мертвым многие века! С тех пор ходит он по Украине ни жив, ни мертв, и чумаки где-то видели его».

Косвенные подтверждения тому есть и в каких-то слухах о том, что в Константинополе его отнюдь не казнили, а он принял ислам и через несколько лет умер там от болезни. В «Истории русов» также весьма отличное сказано о конце Юрия:

«Судьба Юрия Хмельницкого есть странна, удивительна и превосходяща все случайности: два раза избран был он гетманом целою нацією и признанным ею того достойным; но два же раза лишился сего достоинства по интересам той же нации. Наконец, еще два раза возведен был в то же достоинство двумя монархами; но никаким их могуществом утвержден и удержан в нем не был. И так жизнь его была не что иное, как только игралище фортуны, самой коловратной. <...> Хмельницкий, угождая народу, не щадя самого себя, склонился и на сии его желания; но наказный гетман, Дорошенко, искавший, как и многие другие, настоящего себе гетманства, схватя Хмельницкого, отдал хану Крымскому, который сослал его в город Белгород, и оттоль взят он в Царьград и посажен в Едикул, или Семибашенный замок, где содержан четырнадцать лет в заключении и, наконец, сослан в один греческий остров и тамо скончался пономарем в одном греческом монастыре».

Марка, посвященная Юрию, выпущена в 2001 году...

Забирает меня некая глубокая печаль от всего этого.

Глава 20. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Я закрыл книгу и погрузился будто бы в какую-то созерцательную полудрему. Во мне не было ровным счетом ничего осязательного или словесного, и если попытаться что-то в себе самом все-таки разглядеть, в том кисельно-багровом, что колыхалось во мне какой-то субстанцией, и обозначить словом единым, то близким будет разве что слово «печаль», или же «скорбное изумление», что ли, и мое сердце все не могло смириться с этой вот непреложностью, роковой обреченностью нашей родины, Украины, на эту злую судьбину: быть разменной монетой в крупных геополитических играх соседних держав, восходящих в зрелость и силу или, напротив, иссякающих этой былой исторической мощью, разрушающихся, загнивающих на корню, теряющих перезрелые зерна свои, ибо некому собрать урожай, дать ему лад и сохранить для близкого и отдаленного будущего. Слепление, преступное и глупое, завело прежде Речь Посполитую, а затем и Русь-Украину, в совершенный тупик, — и как было обозначить роковые ошибки, обозначить диагноз, если ко всему примешано было человеческое, усугубленное словом Ницше: «человеческое, слишком человеческое»?

Выйдя из Исторички на лаврский двор и вдохнув свежего воздуха, я вдруг в который раз осознал, что вот уже и весна началась, набухли почки у зелени, пробилась на днепровских склонах трава, еще пройдет горстка одинаково неприметных деньков, исполненных всегдашней суетой и бытовой требухой, и черно-белое, графически-ломкое и угловатое пространство стольного Киева покроется прежде нежной, а после буйной листвой, затуманится облаком молодой зелени, — днепровские склоны уже зеленели, и теплый ветер с реки ласкал лицо, ворошил волосы. Эта обыденность дня, обыденное чудо пробуждения земли и природы, с завидным постоянством про-

исходившее из года в год, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие — несмотря ни на что привходящее, привнесенное человеком, который приходил в этот мир, на эти древние днепровские склоны на сущее краткое мгновение, а ему казалось, что жизнь его не закончится никогда, а она внезапно все же заканчивалась, — была какой-то удивительно полной и непостижимой божественной формулой, сообщавшей душе что-то невероятно важное и единственное, дававшей некий ключ к постижению смысла человеческой жизни, смысла истории, то есть дней и времен, уже прошедших, полузабытых, забытых, искаженных сказочной мифологизацией и просто без остатка погрузившихся в сущую тьму того, чего вроде и не было никогда. Но откуда-то, из этой воистину вневременной мглы, тянулись слабые генетические ворсинки моего рода, родов, народа, народов, вынужденных жить бок о бок в этом вот данном нам времени, расцвеченном разнообразными делами, заботами, целеположениями, нашей верой, нашей любовью, ошибками, преступлениями, нашим общим неистовством в достижении каких-то ложных или же настоящих целей, в выживании, в страданиях, в дикости казней, в жалких, ничего не стоящих оправданиях, в домыслах и во лжи, усугубляемой толщей времен, вроде бы очищающих суету, осаждающих, опровергающих слухи и мифы, но так и не проясняющих ничего толком. «Будущие поколения разберутся...» — вот утешение неудачников, задвинутых в пыльный угол забвения, или же «история рассудит» — еще одна иллюзия, помогающая просто прожить этот день и не заморачиваться понапрасну. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, — что это? — я, как представитель «будущего поколения», пытаюсь разобраться в том, что происходило в польском Потопе и русской Руине? И что «рассудит история» в этом кровавом потоке, усугубляющем и без того весьма непростые взаимоотношения славянских народов — русских, бывших и настоящих подданных погибающей Речи Посполитой, суровых и несгибаемых московитов, простодушных литвяков Белой Руси и Великого княжества Литовского и самих горделивых поляков, первенствующих по праву господ, кичащихся высоким происхождением, дворянскими гербами и славными завоеваниями воинственных предков, которые они успешно проматывали и теряли в 17 и 18 столетиях. Уже, кажется, мало кто помнил, что война, начавшаяся в конце 16 столетия и продолжавшаяся на вылет весь 17 век, была, по сути своей религиозной, инспирированной папским Римом и Обществом Иисуса, чьим послушным оружием стал польский король Сигизмунд III Ваза, попытавшийся, на общую беду, ввести в государстве унифицированное вероисповедание. Но он забыл, вероятно, о первых христианских мучениках, с радостью шедших на мучительства и на казни, хотя, если разобраться, что там было особого в том, чтобы бросить в жертвенное пламя щепоть ладана и вознести молитву за римского императора... И вот — древнее исповедничество и бесстрашие возродилось. В этой бесконечной войне законом стал ветхозаветный принцип «око за око» и «зуб за зуб», и противостоящие народы только разжигались в сокрушительной ненависти, уничтожая друг друга с прилежанием и зверством, достойными лучшего применения.

— Лешек, — спросил как-то меня Максим Добровольский, — а разве тогда, в 17 веке, сложились уже сами генотипы народов, в том виде, в котором мы их имеем сегодня? И различие не осуществлялось ли по вероисповедальному принципу? Если католик — значит, поляк, православный — русин, кальвинист-лютеранин — скажем общо — житель Великого княжества Литовского, какого бы он происхождения ни был, или эмигрант из Чехии и прочих мелких княжеств германоязычной Священной Римской империи...

— Тут надо бы провести некую параллель с еврейским народом, идентичность и целостность которого сохранялась на протяжении тысячелетий только лишь благодаря — говоря грубо и весьма в общих словах — исключительно становому хребту ветхозаветной религии. Говоря о православии, унии и католичестве, я отнюдь не дерзаю сопоставить древний народ Израиля с нашими нарождающимися этносами в религиозной борьбе, — удельный вес у нас слишком уж разный. Но надо отметить, что русская шляхта, магнаты и лучшие люди народа, принимая католицизм по разным причинам — ради науки, ради приобщения к более высокой культуре, ради карьеры, военной ли, политической ли, — через одно или два поколения становились просто поляками, — вот какой мощной религиозной интенцией обладал католицизм той поры. Помнишь, я рассказывал как-то тебе о русском этнархе, князе Константине Острожском, магнате и культуртрегере? Он до самой смерти слыл главным защитником православия после Бреста, был рупором громогласным противостояния католикам на сеймах и на церковных соборах, но еще при жизни сын его Януш перешел под омофор Ватикана, и род Острожских буквально в одно поколение ополячился. То же произошло с Вишневецкими: Дмитрий-Байда Вишневецкий, основатель Запорожской Сечи — в народной думе — до смерти исповедует свое православие, будучи подвешенным на крюке на крепостной стене в Царьграде, а его совсем недалеким потомком Иеремия — уже главный палач русских людей во времена Хмельниччины,

карающий меч папского Рима и спаситель короны...

Хотелось мне еще добавить кое-что о внучке этнарха и столпа православия, княжне Элеоноре Острожской, дочери Януша, но я удержал свой язык: «Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?» — по точному слову Шекспира — довольно Максиму моей архивной тщеты. А ведь Элеонора стала женой четвертого сына, именем Иеронима, гетмана великого коронного и воеводы подольского Ежи (Юрия) Язловецкого нашего, основателя как Кременчуга, так и Язловецкого замка. Иероним прославился отвагой в древних битвах с татарами, и о нем даже писали что-то вроде того, что битвы для него игрушка, лагерь является домом, конь — сиденьем, панцирь — одеждой, танцы с татарами — забавой. Он продолжил строительство Язловецкого замка, начатое его отцом. Скончался же в начале 1607 года и был похоронен в костеле доминиканцев в Язловце.

Но я тогда промолчал. И вот теперь я брел по Печерску, будто бы по дну моря, в затопленном городе, вечером, в сокрушительной внешней тишине, хотя откуда бы и взяться ей было бы, — я был подобен глухому, потому что внешние звуки — шум автомобилей, человеческая разноголосица, окружавшие меня, будто бы блокировались прозрачной стеной, — я был оглоушен только что прочитанным в Историчке. Конечно, я и прежде читал о Руине и о всех этих гетманах, позорной чередой проковылявших по нашей скудной исторической ниве, заросшей репейником, но только теперь мне довелось достаточно сфокусировать свое зрение на каждом из них, а не просто пробежаться по разрозненным фактам: родился, жил, воевал, предал и умер в почете... Или, напротив, «удавили снурком» или «без суда расстреляли»... А в нынешних временах вот и маркой память почтили... Ну а как еще напомнить равнодушному, измученному бесконечным раздраем народу, препровождающему единственное время жизни своей на этой благословенной и несчастливой земле в непрестанной заботе о хлебе насущном, о том, кто жил здесь раньше? Хотя бы почтовую марку тиснуть — глядишь, будет на почте письмо гражданин отправлять, лизнет языком марку оплаты, наклеит на конверт да и заметит козака в красном жупане, с саблею на боку: гетман какой-то на фоне условного замка крутит свой ус... Может быть, кто-то и задумается на мгновение, а может, даже для чего-то запомнит... Но что по этим маркам можно понять о русской Руине? Парад кособоких сувернитетов, политические и человеческие метания, бессмысленность казней и напрасность бесчисленных жертв... Конечно, никто не требовал и не ждал в тех громокипящих и невероятных во всем временах какой-то нежности, уступчивости и глубокого понимания своей миссии, своей державной задачи, кроме разве что Богдана Хмельницкого, указавшего булавой путь на восток и на север, как мы можем видеть на памятнике на Софийской площади в Киеве. К слову, первый проект памятника, созданного скульптором Михаилом Микешиним, был весьма говорящим — конь Богдана сталкивал польского шляхтича, еврея-арендатора и иезуита со скалы, перед которой малоросс, червоноросс, белорус и великоросс слушали песню слепого кобзаря о прежних подвигах козаков... Жаль, что не собрали на тот проект в середине 19-го века достаточно денег, пришлось упрощать, удешевлять, умять, уплощать. С другой стороны, все что ни делается — к лучшему. Иначе в 2014 году, во время «революции Гидности (годности?)» на Майдане разгневанные на Януковича «правосеки» разрушили бы фигуру москаля, а иезуита, напротив, увенчали бы венком исторического победителя, чем нарушили бы микешинский авторский замысел. Да и не только микешинский — ведь идея памятника принадлежала еще Николаю Костомарову, а внешность знаменитого гетмана и особенности одежды Хмельницкого были воспроизведены с помощью консультации другого замечательного киевского историка Владимира Антоновича. А так — уцелел литой Богдан перед Софией, только имперские надписи «Волим под царя восточного, православного» и «Богдану Хмельницкому — единая неделимая Россия» сбили большевики подальше от греха. Хрен вам — «царя православного!» Хрен вам — «единая и неделимая!» Разделяй, проклятьем заклеянный, властвуй и веселись, ибо завтра умрешь! Но это так, к до-сужему слову своему прилагаю. А тогда, вечером, на дне моря, в затопленном тишиной городе я двигался, как сомнамбула, отравленный моим новым суетным знанием, вынесенным после чтения костомаровской «Руины», «Летописи Величка» и прочих неустраиваемых десятилетиями книжных лаврских сокровищ, пылящихся втуне в хранилищах нашей Исторической библиотеки.

О чем думал я тогда, ранней весной 1979 года? Да и думал ли я вообще? Внутреннее мое естество было изодрано в клочья, в ошметки, я был ошарашен и повержен в прах, — ведь я был, как и все, вполне себе советским таким чуваком, любителем чтения, музыки, светлооких дивчин из Беликов, Козельщины и Кременчуга, любителем местечкового пива «Желтый аэроплан» и кременчугской днепровской тараньки к нему, я вполне верил и разделял постулаты тогдашней нашей исторической науки, узко заидеологизированной, закованной в догмы марксизма и однозначной, словно амеба,

аксиомой которой, пересмотру не подлежащей, было вековечное тяготение украинского народа из-под польского ярма и горького рабства к конечному воссоединению с Россией и совместному победоносному шествию в сияющий мир всеобщего счастья, трудовых свершений и подвигов вроде строительства ДнепроГЭСа, металлургических комбинатов в Днепропетровске и Днепродзержинске, могучих заводов, стахановских рекордсменских угледобыч и партизанских подвигов Вали Котика, — а тут вдруг такая открылась бездна, что впору было либо рехнуться, либо заняться серьезным анализом, либо все вменить ни во что и продолжать свою бездумную студенческую житуху: ездить на троллейбусе в универ, играть в преферанс, бродить по городу (уже, увы, без Галюни), слушать музыку, рассусоливать эзотерическую муть с Максимом Добровольским или с Игорем Виновым, продираться через слепую машинопись Карлоса Кастанеды, потреблять «жигулевское» пиво вперемежку с портвейном «777» и не задавать никому лишних вопросов. И главное — не задавать этих вопросов себе самому. Но... сказать легко, да трудно вот сделать. И, конечно, вопросы эти вставали, — впрочем, даже не вставали, а просто колом торчали во мне непрестанно, не оставляя меня даже ночью. Я, конечно, пытался справиться со всем этим, последним козырем из рукава доставая все ту же замызганную карту, и говорил сам себе, как некогда Сероштан в Кобеляках:

— Лешек, твою мать, ты же поляк!.. Что тебе до этих ряженных гетманов Малой Руси, думавших только о том, чтобы потуже натискать золотыми червонцами карман да набить московскими роскошными соболями сундуки в своих столицах — Батурине, Глухове, Чигирине — они ведь готовились жить вечно и вовсе не умирать, — и думал ли кто-то из них о народе или о том, что от народа тогда оставалось?.. Ты же — поляк, и те гетманы, как и сгинувшие в веках козаки-запорожцы, были врагами твоих предков, и раздор, раскол и война только ширились и углублялись тогда, несмотря на все эти Андрусовские перемирия и на «Вечный мир» 1686 года!.. Пекся бы ты лучше о несчастной судьбе природных твоих соотечественников, о польском Потопе, когда Речь Посполитая уже одной ногой стояла в могиле своей, воспел бы героя Стефана Чарнецкого, как некогда Генрик Сенкевич воспел мифологического пана Володыевского в своей исторической саге... Что ты паришься?

Но при всем этом, весьма разнообразном и спорном, сугубо, может быть, даже теоретическом, я почему-то довольно ровно, если не сказать, безразлично и отстраненно, воспринимал роль Польши во всех этих малороссийских разборках и нестроениях, — и стояло, вероятно, задуматься и над этим: в чем же здесь дело? Что со мною не так? Почему я нахожу в себе острую боль, сострадание и печаль, читая об этих всех добровольных и потом принудительных переселениях и сгонах тогдашних русских людей прежде с Правобережья в Слобожанщину, затем, наоборот, насильственное переселение на Правобережье под угрозой казней-расправ? Эти татары и их промысел «живого товара»... Эти невероятные первенствующие гетманы Южной Руси, расплачивавшиеся с союзниками своими же людьми и согражданами... Эти дипломатические ухищрения пана Беневского, сочинившего вместе с Выговским статьи Гадячского договора, и знавшего точно, что никогда сейм в Варшаве не утвердит никакого «Русского княжества», — но стратегической целью здесь было оторвать Запорожское войско и в целом Русь-Украину от Москвы, повернуть время вспять, не пересмотреть даже, а попросту отменить совершенно Переяславские договоренности 1654 года, вменить их ни во что, считать их протистой и неважной для будущего ошибкой Хмельницкого... Конечно, что говорить, Станислав Беневский был польским героем не меньшего масштаба, чем Стефан Чарнецкий, но если тот отважно сражался, не щадя жизни, в сабельных схватках, то Беневский, на мой взгляд, гораздо больше сделал для спасения Речи Посполитой, разлагая ласковым словом и обещаниями мятежных, но по-детски доверчивых гетманов Южной Руси-Украины. О том свидетельствует даже краткая его биография: в 1641 году он был писарем гродским луцким. В это время в его канцелярии подвизался Павел Тетеря, — стало быть, к будущей гетманской карьере его и ко всему прочему Станислав Казимир руку свою приложил. В 1650 году Станислав Казимир уже стал королевским секретарем. С 1648 года выполнял различные дипломатические миссии. В 1654 году был депутатом в Радомском казначейском трибунале. В 1655 году был избран депутатом сейма для выработки условий для «успокоения Украины», — но с избранием его на эту должность верховные паны припозднились, а жаль. Но в 1657 году еще уговаривал смертельно больного Богдана отступить от Москвы, однако же безуспешно. Может быть, в этом только он и потерпел поражение, но затем свое сторицею отыграл. В 1658 году был комиссаром на переговорах с гетманом Иваном Выговским, пугал козацкую старшину ну московскими лаптями, зипунами и переселением за далекое Белоозеро, «блеснул» сравнительной вероуверительной экзегезой — результатом этих усилий стал Гадячский договор и отпадение Выговского от Москвы. В 1660 году распропагандировал

Юраска Хмельницкого под Чудновым, и тот со всеми своими козаками перешел на польскую сторону, в результате чего московское войско боярина Шереметева было разгромлено, а сам боярин на долгие годы оказался в плену у татар. Беневский стал своеобразным духовным отцом и наставником Юрия, что, как известно, не принесло тому счастья и успокоения. Интересно, какие советы давал Станислав Казимир иноксу Гедеону, что жизнь того оказалась настолько запутанной и драматичной? В 1667 году Станислав Казимир ездил в Москву для утверждения Андрусовского договора, кое-что выторговал существенное для Польши, — в частности, Россия отказывалась от завоеваний в Великом княжестве Литовском и возвращала удерживаемые ею Полоцк, Витебск и Динабург, но много вообще-то и потерял, а вот до «Вечного мира» с Москвой Станислав Казимир не дожил десяти лет, умер в 1676... Каштелян волынский (1655-1660) и воевода черниговский (1660-1676). Староста богуславский (с 1658), носовский (с 1664) и луцкий (с 1673)...

Как тут, к досужему слову, не помянуть еще раз о конце жизни гетманов, поверивших посулам и обещаниям удачливого дипломата и комиссара: Выговского без суда и следствия расстреляли по приказу Павла Тетери в 1664 году, а Юраска Хмельницкого прикончили турки в 1685 году и тело его выбросили в реку...

Таковой, по сути своей, оказалась плата за предательство дела Богдана Хмельницкого. А итог дипломатических ухищрений Беневского еще более горек — бесконечно тлеющая гражданская война на обоих берегах Днепра, десятки, если не сотни, тысяч погибших русских людей, пленники без числа, увезенные в крымских полонках, разоренные, запустевшие земли, где десятилетиями белели непогребенные человеческие останки... Но, быть может, того и хотел Станислав Казимир? Тогда цели достигнуты: Речь Посполитая все-таки выстояла, выжила в польском Потопе и в Московской войне 1654-1667 годов, потеряв полностью Левобережье Днепра, потеряв Киев, Смоленск и Стародубщину... Но тут ничего не поделать: сняв голову, по волосам не плачут... Конечно, не пан Беневский был кругом виноват в этих бедах и несчастьях Руси-Украины, но тут мы имеем драматическое противостояние мировоззренческих и геополитических позиций: то, что для Руси-Украины было злом и бедой, для Речи Посполитой оказывалось тактическим успехом, победой в непрестанной борьбе за выживание. Да, Речь Посполитая весьма сократилась в территориях, но все-таки, пусть даже в ослабленном виде, она осталась на политической карте тогдашней Европы: витийствовал сейм, шляхта все надрывалась в гордом своем *liberum veto*, не давая ходу тому, что ей не нравилось в данный момент, короли избирались — после Яна II Казимира, который был внуком Сигизмунда III и сыном Владислава IV и которому суждено было пережить губительный и злосчастный Потоп 1655-1657 годов, королем стал Михаил-Корибут Вишневецкий (1669-1673), сын Иеремии, героя или же антигероя — на выбор — Хмельниччины, затем Ян III Собеский (1674-1696) и, наконец, Август Сильный (1696-1733), саксонский курфюрст, при котором Речи Посполитой снова было суждено пережить очередную шведскую оккупацию очередного же Карла, по счету XII...

Что же со мною не так, — думал я в тот памятный вечер, возвращаясь из Исторички, почему не нахожу я в себе практически ничего, кроме слабого, невнятного отголоска, затухающего, едва различимого эха, — может быть, даже следа некоего сожаления, что ли, что все, о чем я только что прочитал, могло ведь сложиться иначе, — ведь совершенно утеряны первоначальные смыслы раздора, все забыто и бытием поросло. Спроси сегодня на улице кого из прохожих, не получишь никакого ответа, но только лишь удивление, — да что о случайных тут говорить? — задай вопрос даже в университетской аудитории нашим студиям горе-историкам о причинах извечного к этому времени противостояния украинцев и поляков, ответом будет разве что невнятное бляение о вековой мечте соединения с единокровным русским народом, — все сглажено, нивелировано, загнано в прокрустово ложе советского ложного историзма.

«Сегодня никакого противостояния нет, — сказал бы в 1974 году наполитинформации о международном положении в николаевских солончаках мелкий старлей Логунов, мой командир-воспитатель, — Польша, как и СССР, член Варшавского военного договора. Мы плечом к плечу противостояем империалистическим посягательствам на социалистический лагерь и блок! Враг не пройдет! Шо ты ото, Маршалок, — в дурдом захотел?»

А во мне все тлеет некое метафизическое сожаление о том, чему так и не суждено было в веках воплотиться: о единой и неделимой славянской державе. (Тут я был последовательным фантазером в духе Николая Яковлевича Данилевского, креста над Святой Софией, панславизма и прочих сладких грез 19-го столетия). Приукрашенной памятью о ней, как об утерянном рае, утешали себя польские поэты-романтики вроде Юзефа Богдана Залеского, Северина Гоцинского, Тадеуша Крэмповецкого, который предводителей антипольских восстаний Наливайка и Павлука называл «новыми

спартанцами» и признавал историческую вину польской шляхты перед украинским народом. Сергей Беляков в своей замечательной книге «Тень Мазепы» пишет об одном из таковых мечтателей 19-го столетия:

«Польский эмигрант Якуб Яворский в Париже будет с тоской вспоминать песни чумаков, настоящих украинских чумаков — бритоголовых, с глинными чубами, которые они закручивали за уши. Чумацкие песни были этому поляку милее парижской оперы. Украина для него — родная страна. Он призывает шляхтичей оставить свою спесь и наконец увидеть в украинском крестьянине брата. Разумеется, Украина для пана Яворского — часть будущей Польши».

Такого же рода и исторический романтизм Тараса Шевченко, воспевшего в своих «Гайдамаках» кровавую и беспощадную Колиивщину 1768 года, в которой погибло более 20000 мирных жителей, по преимуществу поляков и евреев, когда даже за польский кафтан можно было лишиться жизни, и довольно трезво, скептически относившегося к Польше вообще. Но при этом в стихотворении «К полякам» он тоже выстраивает идеализированный утерянный рай:

*Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп`яли.
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Україна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Доголу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Те деум! алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Погай же руку козакові
І серце чистеє погай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
(1850, Оренбург)*

Но надо здесь все же отдать должное историческому чутью кобзаря: как роковой, губительный водораздел, раскrojивший на века и напополам великое единое государство, как «кость раздора» он понимает Брестскую унию 1596 года: «Аж поки іменем Христа \ Прийшли ксьондзи і запалили \ Наш тихий рай...» Но вот чудеса какие случаются в нашей теперешней жизни. В 1996 году у нас на Украине широко праздновали 400-летний юбилей Брестской унии, а греко-католическая церковь, золотушное дитя Брестского собора 1596 года, с момента легализации в конце 1980-х годов позиционирует себя ни много, ни мало «национальной церковью украинского народа». Я понимаю, что никто не знает собственной истории, никому не интересно знать, против чего выступали истинные, настоящие герои Украины Сагайдачный, князь Константин Острожский, предводители козацких мятежей и восстаний при короле Владиславе, какой основной побудительной причиной было составление и принятие Переяславских статей Богданом Хмельницким (ах, ну да, большевики же сбили, безпамятства нашего ради, знаменательную надпись на памятнике Богдану: «Волим под царя восточного, православного»), но хотя бы стихотворение «К полякам» Тараса Шевченка внимательно читали бы... Но — нет... Так и приходится на пальцах объяснять нашим нынешним «неразумных хазарам», мечтающим о визите очередного

римского первосвященника в Киев, историческую «таблицу умножения» на пальцах... Но куда там: разве кто-то услышит? Разве кто-то поймет?..

Так и живем в мире подмен, подделок и злонамеренной лжи, в мире, где белое выдается за черное, и наоборот.

Но разве кому-то в сегодняшнем Киеве до исторической истины есть реальное дело?..

«Лешек, ты же поляк!» — так и слышу я голос друга своего Сероштана из дальней дали середины 1970-х годов, — и в этом напоминании нет, впрочем, никакой укоризны, нет обиды, которой стоило бы вообще ожидать, тем более после наших тяжелых, изнурительных споров о Волынской резне 1943-45 годов — от украинских националистов, и об адекватном ответе Армии Крайовой и Обороне поточной былых Сходних кресов тогда же, с такими же крайностями и жестокостями. Нет, речь здесь все же идет о некоем стереоскопическом зрении: ведь можно видеть одним глазом, а можно двумя, и не о чем спорить здесь, какое зрение предпочтительнее.

Моя, признаю, довольно распрошенная в поколениях польскость (назовем это таким вот корявым термином), весьма теплохладная и никакая, за несколько поколений пребывания в советском идеологическом бульоне вываренная до пустой скорлупы, все же придавала моему зрению, моим ощущениям некую видимость объективности (так, по крайней мере, мне хотелось думать), и мои чувства в таких вот разговорах, как со Сероштаном, отнюдь не захлестывала пена беспричинного польского национализма и польского же мессианизма, который был весьма сроден известной «богоизбранности» еврейского народа. Но если богоизбранность евреев целиком принадлежала ветхозаветному миру, то мнимая богоизбранность Польши, ее утраченное величие и сегодняшние бесконечные страдания, были знаком и символом нового времени и некоего грядущего искупления, как казалось патриотам на протяжении всего 19-го столетия. Как и в каком обличье все это должно было воплотиться, а тем более в чем было искомое искупление, я, конечно, не знаю. Думаю, не знали и патриоты, со слезами певшие строки польского гимна «Jeszcze Polska nie zginęła» («Еще Польша не погибла»). После третьего раздела Польши в 1795 году и исчезновения государства наши предки будущую судьбу и будущее восстановление справедливости видели исключительно в возобновлении нашей утраченной государственности. Но никто не хотел, оглянувшись назад, кроме блистательных побед и свершений былого, разглядеть и понять роковые причины и обстоятельства гибели Речи Посполитой. Почему, по какой причине Речь Посполитая прекратила существование? Кроме разве что поэтов-романтиков вроде Гошчинского, о которых я уже поминал. Но они все же были поэтами, и дальше стенаний и жалоб дело не шло. Трата польского этноса в бесплодных восстаниях, казни в Варшаве в 1830 году, казни 1863-1864 годов, массовые высылки рядовых польских повстанцев в глубины Сибири и на побережье Тихого океана ослабляли народ, обескровливали его, — и кто мы сегодня, потомки тех отважных и бескомпромиссных повстанцев 19-го рокового столетия, — утратившие вероисповедание не только в форме римского католицизма, но и вообще веру в Бога, утратившие язык — основы основ национального бытия, — что в нас осталось, кроме фамилий и, может быть, полонизированных имен, как у нас, кобелякско-кремENCHУГСКИХ Маршалков-Язловецких-Яницких, выходцев со Сходних волынских кресов?

Но надо отметить и положительное во всем этом, имеющем быть поневоле: шампанское давным-давно выдохлось, несколько испарилось, и, в частности, я во многом утратил польскую идентичность, но и зрение мое очистилось естественным образом от наносного, свойственного оголтелому национализму, и если мои дальние предки без всякой жалости рубили на плахах козацкие головы, почитая себя в полном праве поступать так, то в себе самом ныне, даже в невольном воспоминании этого, я ничего не нахожу, кроме ужаса и содрогания от подобного.

И, думаю, в этом я прав.

Потому и размышляя сейчас о малороссийской Руине и о ее гетманах, я пытался отыскать в их действиях, в их устремлениях и в текущей политике то, чему можно было бы дать определение хотя бы зачаточного национального чувства, — ведь не случайно начальствующему дан Богом меч, как сказано апостолом Павлом, — и он должен бы понимать шире и глубже, чем рядовой запорожец или посполитый крестьянин, — куда и зачем двинется подвластный народ. Но тут-то и закавыка была: все гетманы оказались политически и духовно незрелыми, неготовыми не только к государственному строительству, но даже к адекватному сотрудничеству с Москвой и в результате оказались неверными. Я все-таки избегаю слова «предательство» — для меня оно весьма неприятно, и мне, скажу честно, хотелось бы найти для каждого из гетманов украинской Руины какие-то оправдания, но с оправданиями-то как раз и проблема. Ведь даже великий Богдан, решительно преломивший естественный, скажем так, ток

южнорусской общественной и политической жизни в составе Речи Посполитой, в конце жизни все-таки нарушил свои союзные обязательства с московскими воеводами, заключив сепаратный союз со шведами и трансильванцами, в то время как москвиты заключили перемирие с поляками и выступили против шведов. Понятны цели Богдана: он хотел совершенного разгрома польско-литовского государства, а Москва тому воспрепятствовала, по известным мотивам, — Речь Посполитая уже лежала в руинах, а усиление Швеции в данный момент казалось опасным Алексею Михайловичу, — вот здесь и был скорый конфликт новых союзников. К тому же примешалась сюда и глубокая обида Богдана: договор о перемирии с Речью Посполитой и совместной войне против шведов москвиты заключили, даже не поставив в известность Запорожское войско, не говоря уже о совместном решении и совете.

Тут стоило бы, вероятно, обозначить разницу в национальных характерах московских и малороссийских людей. Как я уже говорил, бывший подданный Речи Посполитой имел в себе генетически некоторый демократизм, назовем это так, в отсутствие более точного и подходящего термина, — присущий в целом всему строю польского образа жизни: король Речи Посполитой избирался, имея при этом весьма номинальную власть, сейм мог блокировать любой проект постановления всего одним несогласным голосом («не позволяю!», или *liberum veto*), козацкий гетман в Южной Руси, не говоря о кошевых Запорожских и полковниках городов, также избирался свободным волеизъявлением Черной рады, или старшины, и мог теоретически, а зачастую и практически, лишиться булавы по коллективному приговору. Русские подданные Речи Посполитой веками жили в подобных условиях, и первые же попытки польских магнатов закрепить как-то крестьян на земле, которую они обрабатывали на правах аренды, вместе с церковным проектом унии с Римом, вызвали восстания, мятежи и нестроения, со временем переросшие в полномасштабную религиозную войну.

Не то было в Московской Руси.

Я не буду здесь рассказывать о династии Рюриковичей, правивших Киевской и затем Московской Русью с незапамятных времен. Но пресечение потомков варяжского князя-конунга в Москве в конце 16 столетия породило невероятный по масштабам и опасностям кризис — Смуту, последствия которой хватило расхлебывать даже Алексею Михайловичу, не говоря о его отце Михаиле, которого избрал московским царем Земский собор в 1613 году. Конечно, московские соборы в корне отличались от польских сеймов. О том говорил и В.О. Ключевский, который определял их как «особый тип народного представительства, отличный от западных представительных собраний». Такой собор собирался только в исключительных случаях — последний исторический собор (по крайней мере в полном составе) произошел как раз в 1653 году по вопросу о принятии Запорожского войска и Руси-Украины в состав Московского государства. Последним же по хронологии принято считать Земский собор 1684 года, на котором были утверждены статьи Вечного мира с Польшей. После этого соборы больше не собирались, а Петр I и вовсе отменил их и сдал в архив, как давно изжитый политический анахронизм: Россия стояла на пороге имперского абсолютизма. Впрочем, и во время своеобразного расцвета Земских соборов в 17 веке они имели разве что совещательное, номинативное значение, но никак не решающее. Последнее слово всегда оставалось за самодержцем. Ведь даже в этом термине — *самодержец* — прозрачно-понятно читается главный принцип государственного устройства России.

Польские же сеймы в мирное время проводились с завидной регулярностью: не реже одного раза в два года, при насущной нужде, как то война, заключение мира, коронация новоизбранного короля, важные переговоры и прочее, сейм собирался по мере необходимости и длился столько времени, сколько требовалось для выработки нужных решений.

Историческая судьба московских соборов и польских сеймов тоже весьма различна: первый Земский собор, известный нам, имел место только при царе Иване IV Грозном в 1549 году, первый же сейм польской шляхты — в 1180 году в Ленчице, а в 15 веке *важные сеймы* польской шляхты стали проводиться с завидным постоянством. После заключения Люблинской унии в 1569 году, когда с королевством Польским объединилось Великое княжество Литовское, роль сеймов в управлении государством весьма возросла. *«И наконец, — констатирует Википедия, — в 1589 году был принят принцип единогласия, который в корне изменил законодательную процедуру Речи Посполитой. Депутаты сейма приняли принцип liberum veto, то есть права любого депутата остановить обсуждение любого вопроса и приостановить сессию вообще. С этого момента закон мог вступить в силу только по единодушному принятию всеми представителями в сейме. Этот принцип стал одной из причин ослабления и последующей гибели Речи Посполитой».*

Говоря другими словами, своеобразная демократия в Речи Посполитой создавала лишь видимость, иллюзию некоей свободы. Каждый магнат имел личные военные

соединения, по численности зачастую превосходящие *кварцаное коронное войско*, подчиняющиеся только ему, потому неизбежны и довольно регулярны были самостоятельные *домовые войны* за обладание землями, угодьями и городами, и не только между воинственными панями, — во главе вооруженных пушками и самопалами многолюдных, конных и пеших оршаков зачастую стояли высокопреосвященные русские епископы, не без крови добывающие с бою богатые монастыри и церковные замки. Гродские книги Луцка и Каменца пестрят жалобами и судовыми исками против таких вот епископов, некоторые из которых спустя совсем недолгое время стали устроителями унии с Римом и, в терминологии текущего дня, даже «героями Украины», развернувшими темный русский народ к «просвещенному Западу». Вспору задаться вопросом, насколько эффективной была такая система государственного устройства в ту сложную пору, когда по Европе рыскали, так сказать, голодные волки несытых и весьма воинственных держав вроде германских княжеств — на западе, Тевтонского ордена и Шведского королевства — на севере, Московского царства — на северо-востоке, Крыма и блистательной Порты — на юге? Какие шансы были у Речи Посполитой выстоять в таком окружении, если самую сердцевину ее подтачивали все эти проблемы и неурядицы? Падение, распад и исчезновение государства, совершенно неспособного преобразовать обветшавшие вечевые принципы, на которых некогда базировалась древняя Польша времен первых Пястов, королей Мешко и Болеслава Храброго, поглощение его воинственными соседями было всего лишь делом времени.

Как тут не вспомнить евангельское «ему должно расти, а мне умаляться» (Иоанн, 3-30), эту пророческую точность, приложимую к нашей истории? Пока древнерусские удельные княжества воевали друг с другом, Польша разрослась до невероятных размеров, — восточная граница с Москвой проходила под Тулой, — и это еще — в 17 веке! Да что там граница какая-то? — поляки вообще сидели в Кремле, а королевича Владислава московские бояре избрали на царский престол! Но когда Московское царство окрепло, Речь Посполитая весьма «умалилась», и границей стал Днепр, и тоже все в том же роковом 17 веке... А еще спустя столетие, или всего-то через четыре поколения, государство и вовсе исчезло...

В Москве же естественным образом исторически выстраивалась жесткая вертикаль власти — единодержавие, или же самодержавие, превратившееся к 18-му веку в абсолютизм, — это оказалось единственно верным путем выживания, укрепления и расширения во все стороны государства, вплоть до берега Тихого океана, куда московиты вышли уже при первом Романове, Михаиле.

В Речи Посполитой же в это время «разливалось море широко» шляхетской вольности, гордости былыми победами предков, нынешнего самоуправления и тотального эгоизма магнатов. Власть короля была номинативной, решения, даже принятые единогласно на сеймах, зачастую не выполнялись, — а чего только стоило право *рокоша*, т.е. *законного* вооруженного выступления против короля и правительства?... Да в Московской Руси и за меньшее слетали головы с плеч на Лобном месте перед Спасскими воротами Кремля и на Болотной площади за рекой! Рокош, как в Речи Посполитой, здесь просто был бы немислимым бунтом, подавляемым без всякой пощады. Петр I лично рубил головы мятежным стрельцам под кремлевскими стенами. Можно ли представить в подобной роли, в красной рубахе палача и с мясником топором кого-нибудь из королей Речи Посполитой? К примеру, допустим, того же Владислава IV, поклонника Рубенса и устроителя первой Варшавской оперы, постановщика первых балетов, коллекционера живописи и мецената многих искусств? Можно ли сравнивать московского царя и польского короля? Или сравнивать эти соседствующие, но так отличные друг от друга государства?

Все-таки можно и нужно.

Потому что исторически скоро Речь Посполитая распалась на части, по известным причинам, о которых я уже не раз говорил, и православные русины польской Украины присягнули Москве, спасаясь от воинственного католицизма, стали подданными державы иной формации, исповедовавшей не только православие, но и неизвестные, непривычные принципы государственного устройства, неведомые до времени новым подданным Алексея Михайловича. Запорожцы, тщательно оговаривавшие в 1654 году в Переяславле сохранение своих «вольностей», довольно быстро столкнулись с тотальным их нарушением прибывшими в Южную Русь — но опять-таки! — по настоятельной просьбе гетмана Брюховецкого — московскими воеводами. Воеводы прибыли сюда еще при Хмельницком, но «боярин Ивашка» смиренно умолял государя увеличить количество их и посадить чуть ли не в каждом городе Руси-Украины. Но воевод, людей государевых, излишне строго винить: они, как и их предки, родились, воспитывались и жили в совершенно другом мире «вертикального подчинения» и дисциплины, потому запорожцы расценивались ими как беспорядочная и самочинная орда, подверженная

изменчивым настроениями и некритичная к влияниям и пропаганде польских комиссаров вроде Беневского. Да и дела, измены гетманов украинской Руины только поддвигали масла в огонь. Ну вот как мог относиться к козакам главнокомандующий московского войска боярин Василий Шереметев, попавший в многолетний плен к крымчакам после измены Юраска Хмельницкого под Чудновым в 1660 году? Он и до битвы считал Юрия «гетманишкой, которому впору только гусей пасти», о боевых качествах козаков наказного гетмана Тимофея Цецюры еще до перехода Цецюры к полякам тоже был крайне низкого мнения. Поражение под Чудновым, даже несмотря на невиданную отвагу московских стрельцов и героизм, поражавшие закаленных польских жолнеров, было предрешено.

Брюховецкий, автор позорных, унижительных Московских статей, только что зазывавший московских воевод в украинные города, только что умолявший Алексея Михайловича налогами «упорядочить» традиционное малороссийское винокурение, вскоре призывает универсалом вырезать воевод и изгонять их из городов... Да что же тут за загадка такая?..

Думаю, Москва не раз пожалела, что приняла под свое покровительство польскую Украину, этот, образно говоря, чемодан без ручки, который тащить неудобно и тяжело, а бросить жалко. Какие выгоды она приобрела? Тринадцатилетнюю изнурительную войну, истощившую людские ресурсы и казну? Психологический горький опыт, что малороссиянам верить нельзя и полагаться на них весьма опасно и себе дороже выходит? Как тут еще раз не помянуть товарищеский совет, данный московским посланникам в Варшаве после измены гетмана Брюховецкого:

«Надобно вашим государям послать войска — выжечь и перебить этих изменников-козаков, чтобы места их были пусты, потому что они вам и нам изменяют, и добра от них не будет!»

К сожалению, история умалчивает об имени автора этого пожелания. А я думаю, уж не сам ли многоопытный комиссар Станислав Казимир Беневский подал эту свежую идею москочитам? А что? — это вполне в его духе звучало.

О ментальной разнице характеров козаков и москочитов свидетельствует и антиохийский приметливый диакон Павел Алеппский, который в свите отца, патриарха Антиохийского Макария, проходил по выжженной после Хмельниччины земле Южной Руси-Украины. Его, восточного жителя, в частности, весьма удивляли великорусские рынки, где никто из торговцев ни при каких уговорах и торге не уступал в цене и полушки. Но дело тут не в жадности вовсе, но в человеческом принципе, суть которого совсем не мог разгадать и вместить диакон-бытописатель. На востоке все вовсе не так: отказ торговаться и сбивать продажную цену оскорбляет, как ни странно, самого продавца. Кремневые, непоколебимые характеры московских воинов отмечали и участники кровавой битвы под Чудновым в 1660 году: обреченное сражение, совершенно потерявшее смысл, не прекращалось многие дни; изрубленные, безрукие и безногие воины, истекающие кровью, продолжали сражаться и оказывать невероятное сопротивление, — заматеревшим в войнах жолнерам казалось, что они попали в ад на земле... Русские военные историки середины 19-го века отмечали: сейчас таких солдат уже нет.

Потому в этом контексте понятной становится взаимная неприязнь малороссов и великороссов: прежде, встречаясь друг с другом в сражениях, как во время Смуты или как во время Смоленской войны и в других вооруженных конфликтах, им некогда было познакомиться и друг друга лучше узнать, теперь же малороссы столкнулись в своих собственных полковых городах с суровостью и бескомпромиссностью воевод, с их безапелляционностью, великодержавной грубостью, с их насмешками над южнорусскими бытовыми особенностями, над «хохлацким» языком, а москочиты — в свою очередь — познали ненадежность козаков в совместных боевых операциях, их сугубую неорганизованность, слабую военную выучку и — главное — политическую неверность и шатость. С другой стороны, если бы козаки исповедовали по жизни беспрекословную верность своим гетманам и неукоснительное следование приказам, что было присуще московским пришельцам, то Южная Русь уже через несколько лет после смерти Богдана снова оказалась бы в составе Речи Посполитой, — а так какая-то, весьма числом незначительная, часть козаков следовала в фарватере пропольской или же протурецкой политики гетманов Руины, но основная часть все-таки «волила под царя православного», — об этом свидетельствуют единогласно все историки, как русские, так и иностранные. Судорожные, спорадические порывы всех гетманов Руины гасились инертной человеческой массой народа, ни при каких обстоятельствах не желавших возвращения в Речь Посполитую, — и гетманы, с легкостью переступавшие через Переяславские договоренности, ничего не могли реально сделать с народом. Потому, вероятно, без сожаления отдавали единокровных своих посполитых татарам, казнили на площадях городов, уничтожали огнем многолюдные села, разгоняли по

степям переселенческие караваны, утюжили, уничтожали эту несчастную землю, засевая человеческими костями... Таковой была роковая судьба Руси-Украины, и с этим ничего нельзя было поделать.

Возвращаясь из Исторички, уже на подходе к борщаговской общаге, я все пытался понять, что же могло тех гетманов остановить или же образумить? Право? Закон? Благодать? Остановить от преступлений против своего же народа, русинов, благо которых якобы подразумевалось под всеми этими геополитическими изменениями? Народ вроде бы уводился из-под польского ярма и религиозных притеснений, но в результате к чему народ приходил? Из сыновей и внуков сотников, по сути, всенародного войска Богдана нарождалась своя, отечественного разлива, сине-жупанная аристократия, в начале 18-го столетия уже требовавшая от российских императоров даровать ей дворянство и закрепить захваченные дедами в собственность во время войн и бедлама Руины села, городки, хутора и грунты. Но я все-таки размышлял не о том, что имело место в наступающем 18 веке, и все еще не мог отрешиться от горького своего изумления гетманами украинской Руины. Что могло хотя бы приостановить эту бесконечную, безжалостную трагу народа — от их начальственной воли, не ведавшей целей, блуждавшей в трех умозрительных соснах между Польшей, Россией и Турцией? Образование? Но Юрий Хмельницкий закончил Киево-Могилянскую академию, кроме того, с детских лет прошел отцовскую выучку, был свидетелем знаменитых сражений, славных побед и горестных поражений Богдана. Закон и главенство права? Но в этом взвихренном мире, сдвинувшемся с привычной геополитической оси, закона как такового не было вовсе. Речь Посполитая осталась в ненавидимом прошлом, новые московские порядки пробуксовывали и вызывали зачастую понятный протест. Старши на писала в Москву доносы друг на друга, без устали льстила царям, выпрашивала имения и высокие должности и тут же, не моргнув глазом, предавала новых хозяев, как только что старых, — причем без всяких угрызений совести и моральных мучений. Я поражался мягкости царской администрации, когда изменники вроде полковника Цецюры снова попадали в руки Москвы, — ведь их отнюдь не казнили, как того стоило бы ожидать, а отправляли подальше от Руси-Украины — служить и нести привычные им войсковые обязанности. Про Петра Дорошенка я уже говорил и повторяться не стану. Так что могло образумить этих злосчастных гетманов, что могло остановить эти безумные страшные казни, что могло помешать преступлениям Дорошенка, расплачивавшегося с татарами и турками живыми людьми своего рода и племени, как разменной, мелкой монетой?

«...Дорошенко мимо разоренной и залитой кровью Умани направился к султанскому стану, находившемуся где-то недалеко от Лодыжина. Когда гетман въезжал в турецкий обоз, ему загородила путь густая толпа украинских невольников, кланявшихся в землю и моливших о заступлении перед султаном...»

Но разве помог Дорошенко своим соплеменникам? Замолвил ли слово перед султаном?

«5 сентября гетман представился падишаху, получил бархатный колпак, отороченный собольим мехом, золотую булаву, коня с богатым убором и халат — обычный дар султанского благоволения подручникам», — рассказывает Н. Костомаров в «Руине».

Что за дело было Дорошенку до «густой толпы украинских невольников», если речь шла о вожденных «бархатном колпаке» и «золотой булаве»!..

Конечно, я чего-то не понимаю. Согласен, что напрочь лишен государственного, стратегического мышления и что союз с султаном, который заключил Дорошенко, сулил великое будущее малороссийскому славянскому этносу, независимость, европейские ценности и всеобщее благосостояние. Вопросы вероисповедания вообще не рассматривались в этом контексте, ибо были, по всей видимости, совсем для гетмана неважны.

Но вовсе не так к этому отнесся знаменитый запорожский кошевой Иван Сирко, когда осенью 1675 года в совместной операции с донцами атамана Фрола Минаева и стрельцами под командованием царского окольного Ивана Леонтьева они совершили рейд по крымским городам и аулам и освободили семь тысяч русских рабов. Но вот незадача какая: три тысячи человек приняли решение остаться в Крыму... Привыкли, женились, да и климат здесь получше, чем в украинских степях. Кошевой уважил их вольный выбор и отпустил восвояси. Это были уже дети и внуки русских полонянников, так называемые «тумы», родившиеся в Крыму, принявшие магометанство, ничего не ведавшие о своей исторической родине. Но решение их отпустить вовсе не было таким уж простым для Ивана Сирка. Конечно, невозможно восстановить гамму внутренних сомнений и, вполне вероятно, даже терзаний славного атамана, но вскоре следом за «тумами» Сирко отправил молодых козаков с приказом догнать и всех до единого изрубить. Затем подъехал к месту расправы и произнес над

бездыханными телами:

«Простите нас, братья, а сами спите тут до Страшного суда Господня, вместо того чтобы размножаться вам в Крыму между бусурманами на наши христианские молодецкие головы и на свою вечную без прощения погибель».

В этих удивительных, глубоких словах, сказанных знаменитым в веках кошевым атаманом Запорожской Сечи, чью могилу и до сей поры сохранили потомки на берегах Днепра возле села Капуливки, можно если не понять во всей полноте, но хотя бы приблизиться к трагической тайне, роковой противоречивости малороссийской исторической судьбы. Здесь, если хотите, можно расслышать и особый, специфически козацкий символ вероисповедания, — да, страшный символ, да, невероятный по сегодняшней нашей теплохладности и расслабленности, когда Крым давно стал для нас какой-то «всесоюзной здравницей», где мы бездумно, не помышляя о том, что здесь было когда-то, да хотя бы во время гражданской войны 20-го века, просто греемся на ласковом солнышке да потягиваем вино из Массандры. А впору отдыхающим почитать хотя бы «Солнце мертвых» Ивана Шмелева... Не говоря о летописных источниках и научных исследованиях. А зачем?.. Будем же отдыхать!

Впрочем, я снова отвлекся.

А вот как сами старшины расценивали своих гетманов. Генеральный обозный Петр Забила, основатель большого и разветвленного малороссийского рода — его далекой правнучкой была советская украинская писательница Наталья Забила, — так говорил московскому стольнику Танееву, делая, по сути, донос на своего патрона, гетмана Демьяна Многогрешного:

«Вся беда от гетманов, а не от старшин. Только им, изменникам, Господь Бог не терпит за царскую хлеб-соль: все один за другим пропадают; жаль только, что невинных людей с собою губят! Если этого злохищника Господь Бог предаст в руки наши, пусть бы великий государь пожаловал нас: велел быть у нас гетманом боярину из великороссийских людей; тогда у нас постоянно будет, а пока гетман будет у нас из малороссийских людей, никогда добра не будет».

Вряд ли стоит здесь усматривать глубокий и провидческий дар генерального обозного Забилы, прожившего целых 109 лет и пережившего почти всех своих прославленных современников, — разгадка, как водится, простая весьма: все — плохие, я же — хороший, видите мою верность Москве? Так сделайте меня гетманом! Такие же мечты были присущи и полковникам, и Тимофею Цецюре, и Якиму Сомку, и Василию Золотаренку, и еще многим искателям гетманской булавы. Но не всем повезло.

Что же могло остановить этих людей от соскальзывания в трясину предательства, в бессмысленные казни, в террор против своего же народа, в вековое позорище в глазах отдаленных потомков, которое не искупить этими сегодняшними памятными марками Почты Украины? Причем претензии к этим гетманам можно предъявить с какой угодно стороны: что справа, что слева — внутри сегодняшней независимой Украины и со стороны внешней — что от Польши, что от России. Всех предали, всех пытались обмануть, а обманули — по сути — сами себя. Разве не гетманы Руины копали изо всех сил могилу своей призрачной «самостийности»? Разве не Брюховецкий униженно упрасивал Алексея Михайловича увеличить количество присланных воевод в Гетманщине? А Забила прямо высказывался о назначении гетмана из московских бояр. Вероятно, и такой вопрос рассматривался в далекой Москве, — и как это было знакомо до тошноты уже в советскую пору — «по многочисленным просьбам трудящихся» можно было на любом государственном уровне делать все, что душа пожелает: от массовых приговоров к высшей мере наказания «бешеных псов империализма» до повышения цен на товары первой необходимости...

Что могло их остановить или же образумить? Ничто, — кроме «нравственного закона», о котором говорил Кант: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Ведь не на что было более уповать — ни на образование, ни на военную доблесть, ни на происхождение, ни на своеобразное русское обрядоверие, отнюдь не сопряженное с пониманием, а тем более соблюдением заповедей Божиих, — каждый из гетманов готовился жить вечно и вовсе не умирать, и для того набивалась кубышка золотыми червонцами и наталкивались сундуки сибирскими соболями. А для пушечного результата и нужна была верховная власть над народом и войсковая — над козаками. Ради нее не грех было и прогнуться пониже перед московским царем или бархатный турецкий колпак на голову нахлобучить. А затем — исходя из необходимости — предать и искать новую «кормящую руку»... Вот и вся простецкая логика незадачливых гетманов. Да: только нравственный закон мог если и не остановить падение в пропасть каждого из этих людей, то хотя бы замедлить это падение или на микрон изменить

вектор движения чаемого квазигосударства, — но такое предположение, судя по всему, было попросту невероятным. Здесь также не приходится говорить о каком-либо государственном мышлении гетманов. Другими словами — чего они вообще хотели от новых политических реалий, в которых оказалась Русь-Украина? Каким они вообще видели будущее Гетманщины в контексте Московского царства? Какие цели, кроме самых понятных и лежащих под ногами вроде денег, мехов и грунтов, они ставили перед собой?

Да, нам известен примечательный проект Выговского, составленный при непосредственном участии Станислава Бенековского, о выделении русских земель в автономное Русское княжество в составе Речи Посполитой, — но верховные пань в сейме возмутились и заупрямились... И это при том, что Южная Русь была уже потеряна Польшей, — но «понты» тут, как говорится, были для гонорового нашего панства «дороже денег». Тем же путем, и тоже не без влияния Бенековского, в государственном строительстве, если можно применить к этим действиям такой сложный термин, пытался отправиться и Юрий Хмельницкий, но время «Русского княжества» уже прошло безвозвратно. Да и было ли таковое вообще?.. Возможно, дальше всех в своих политических (точнее сказать, полемических) требованиях пошел правобережный гетман Петр Дорошенко, будущий хлыновский воевода и барин в подмосковном имении Ярополче. В 1670 году в переговорах с верховными панями он выдвинул совершенно невероятные требования, исполнение которых гарантировало бы его будущую лояльность: свобода православной веры и совершенное уничтожение унии; во всех местах короны и Великого княжества Литовского ни шляхте, ни мещанам православная вера не должна быть препятствием к получению должностей; Киевская академия должна иметь такие же права, какие имеет Краковская, и в Киеве не допускается заводить иезуитских училищ, зато свободно допускается заводить повсюду школы и типографии; объявление полной амнистии участникам бывших междоусобий и уничтожение всех документов, составленных во вред кому бы то ни было за участие в восстании против Польши вместе с козаками; отмена в Руси-Украине сборов и каких бы то ни было налогов; коронного войска отнюдь не размещать на козацких землях, и если оно приглашается на Русь-Украину по требованию гетмана для помощи против неприятеля, то должно находиться под его началом...

Справедливо, что все эти требования Дорошенка были сочтены сущим бредом, и невозможно было бы даже представить себе, чтобы на сейме все это обсуждалось бы на полном серьезе властью предрешающими. Я вообще предполагаю, что Дорошенко просто так специфически подшутил над панями. *«Козацкие требования от Польши равнялись требованию духовного самоубийства. Угождая козакам, Польша должна была отречься от своей исторической миссии, которую создавали за собою поляки как самое высокое призвание, миссии — дать торжество западному католицизму над восточным православием, считаемым, по учению западной церкви, ересью, которую уничтожить есть богоугодное дело»,* — отмечает по этому поводу Николай Костомаров.

Надобно еще раз отметить, что накануне этих всех благих пожеланий, в 1669 году, Дорошенко уже принес присягу султану и стал подданным Османской империи, так что мог от Варшавы потребовать и луну с неба достать. Но и Мехмеда IV сумел он обвести вокруг пальца:

«Если верить тому списку условий, который был доставлен в Москву («Акты Южной и Западной России», VIII, №73), Гетманщина сохраняла за собой не только полную автономию, но и свободу от всяких податей и взносов в султанскую казну, обязываясь только поставлять козацкое войско по требованию султана» (Википедия).

Так что отказ от налогов и сборов был прямо-таки главной чертой его «государственного строительства».

Чем все это закончилось, известно.

Глава 21. «ГЕТМАН-ПОПОВИЧ» ИВАН САМОЙЛОВИЧ

При гетмане Иване Самойловиче, по всей видимости, малороссийская Руина и общий разброд начали истощаться, сходиться на нет. Да и сама длительность нахождения на высокой должности «гетмана-поповича», как его прозывали козаки с легкой руки Петра Дорошенка, свидетельствовала о том, что ситуация постепенно выправляется. 15 лет, плохо ли, хорошо ли, но Самойлович правил южнорусским беспокойным народом, преодолевая различные трудности, умело лавируя между разнонаправленными политическими и идеологическими потоками той сложной эпохи. С большими трудами и далеко не сразу он устранил Петра Дорошенка, был избран гетманом и на Правобережье, — подобное избрание долгие годы было просто немыслимым и невозможным. Понятно, что эту роль примеривал на себя сам Дорошенко и, вполне вероятно, справился бы с ней гораздо успешнее, но тут он просто переиграл себя

самого. Вот как рассказывает о том Николай Костомаров:

«Серапион заметил ему, что Самойлович уже избран на раде козаками гетманом и утвержден царем. Дорошенко сказал: «Пусть Самойлович не хвалится, чтоб он был такой козак, как я — от прадегов козак! Разве он видал запорожские речки и море? Где он бывал? К чему присмотрелся? С какими государями о войне и о мире добрым обычаем переговаривал? Сумеет ли он что нужно для царского величества начать? Пусть укажет: коли все знает и может доброе дело вести, я ему уступлю и низко поклонюсь за то, что снимет с меня тягосты гетманского чина. Но знает то Бог и люди: не давний он козак. Разве переходил он все войсковые чины, от малого до большого? Я так многожды был полковником и все старшинские чины прошел! Пусть царское величество сам рассудит, что это будет, когда под царскою рукою будет состоять разом нас два гетмана. Я его не люблю, и он меня не любит, — и станет у нас делаться в Украине то же, что делается в Польше, где два гетмана и вечно между собою ссорятся. Ты говоришь: Самойлович избран вольными голосами; знаем мы, какое это вольное избрание: иной бы не хотел подать за него голос, да принужден был подавать, — оттого что за него держал руку боярин! <...> Я желаю за веру христианскую и за целостность державы его царского величества в поганских землях умирать, а он пусть себе спокойно жительствоует без хлопот. Всегда я желал — и теперь желаю — добра его царскому величеству и земле московской, только одной стороною Украины нельзя нам от турок и татар оборониться; затем-то мы и принуждены были поддаться турецкому государю: если я это сделал, то сделал для веры христианской...»

Конечно, новоизбранный гетман, как плоть от плоти Руины, нес на себе все родовые изъяны эпохи: когда Брюховецкий, «гетман-боярин», перешел в турецкое подданство и отложился от Москвы, Самойлович был активным сторонником Брюховецкого, сражался под его хоругвями, выказывая по видимости большую вражду к москвитам. После падения Брюховецкого и удаления Петра Дорошенка на правый берег Днепра, Самойлович «пристал» к Демьяну Многогрешному, которого вместо себя оставил на время местоблюстителем Левобережья Дорошенко, — но ситуация сложилась так, что Дорошенко уже не вернулся сюда, и дело его, — с упорными военными операциями против московских ратных людей, немалыми жертвами и трудами выстроенное на Левобережье, — естественным образом развалилось. Вскоре Многогрешный осмотрелся, поменял мировоззрение и присягнул на верность царю, получил прощение из Москвы, затем утвердился на кратком своем, длиною в три года, гетманстве, лишившись которого «за слова», приговорен был к смертной казни и едва не погиб в Москве под топором палача. Такая вот переменчивая эпоха... Вместе с Многогрешным принес покаяние за мнимую измену и Иван Самойлович и тоже был великодушно прощен. После отстранения Многогрешного, после следствия, суда и ссылки его по приговору в Бурятию, Самойловича выбрали гетманом Левобережья. Историки подозревают, что к падению Многогрешного приложил руку и сам будущий гетман. Как, впрочем, через 15 лет и он попал в такой же ситуационный капкан, устроенный уже Иваном Мазепой, наследником гетманской должности и любимцем Петра I. К слову, есть какой-то сложный символ и в том, что Самойловича избрали гетманом в самый день рождения царевича Петра, будущего грозного всероссийского императора, в бытность которого произойдет судьбоносная и грандиозная измена Мазепы — предсмертная судорога малороссейской Руины, уже последняя в ряду этой весьма печальной хронологии, после чего Гетманщина будет намертво впечатана в жесткую кристаллическую решетку имперского строительства и бытия.

Надо сказать, что судьба Самойловича была все-таки необычной. В отличие от других вождей Запорожского войска и Руси-Украины, он происходил из духовного сословия, был сыном священника с Киевщины, получившим прекрасное образование в Киево-Могилянской академии. Он стал единственным «гражданским» гетманом, чем его весьма справедливо попрекал Дорошенко. Но так уж затейливо сложилась судьба Самойловича: начав с писарской должности — при могучей протекции «сильных века сего» и при удачном стечении обстоятельств — он к 1673 году добрался до высшего войскового поста в иерархии Гетманщины. Оказал множество услуг московским царям, участвовал во всех битвах и войнах, которыми ознаменовалась Руина тех лет, в 1676 году взял в плен Петра Дорошенка, самого неумного и неукротимого противника Московской Руси — сам Дорошенко не без оснований опасался разделить судьбу Сомка и Золотаренка, но обошлось: Самойлович не мог просто так казнить столь знатного пленника-конкурента без санкции из Москвы, но и отпустил он от себя Дорошенка, скрепя сердце, много противясь и возражая приказу. Он вел изнурительные, часто проигрышные битвы как с турками, так и с войсками Юрия Хмельницкого, своего однокашника по Могилянке. В 1679 году ради чаемого замирения на спорных территориях в Москве решено было переселить с правого днепровского берега на Левобережье 20000 семей посполитых, — эта грандиозная операция получила наименование

«великого сгона», после чего Правобережье окончательно запустело. «Великий сгон» осуществлял и обеспечивал Иван Самойлович.

Трудно, конечно же, адекватно оценить необходимость и уместность этого «великого переселения», весьма умножившего народ Слободской Украины, — за Белгородской засечной чертой центральное правительство наделяло переселенцев значительными налоговыми и другими льготами, и из-за этого пустела и «сегобочная Украина», а «тогочная» обезлюдела вовсе. Но при этом переселенцы, или *прочане*, как их называли в то время, выводились из-под гетманской власти, что создавало для Самойловича известные затруднения. Заднепровье же на долгие десятилетия превратилось в пустыню, о чем Самойлович как о хорошо выполненном поручении извещал Москву. Самойло Величко, оставивший потомкам интереснейшую летопись, одно из крайне редких письменных свидетельств о той воистину безгласной, некнижной поре, в начале 18-го века проходил через этот край, находясь в козацком отряде, отправленном Петром I на содействие полякам Августа II Сильного во время Северной войны.

«Видел я, — пишет он, — многие города и замки безлюдные, опустелые, валы высокие как горы, насыпанные трудами рук человеческих; видел развалины стен, приплюснутые к земле, покрытые плесенью, обросшие бурьяном, где гнездились гады и черви, видел покинутые впусе привольные украино-малороссийские поля, раскидистые долины, прекрасные роци и дубравы, обширные сады, реки, пруды, озера, заросшие мхом, тростником и сорною травой; видел на разных местах и множество костей человеческих, которым было покровом одно небо, видел и спрашивал в уме своем: кто были эти? Вот она — эта Украина, которую поляки нарекли раем света польского, эта Украина, которая перед войнами Хмельницкого была второю обетованною землею, прекрасная, всякими благами изобиловавшая наша отчизна, Украина малороссийская, обращенная Богом в пустыню, лишенная безвестно своих прежних обитателей, предков наших».

Николай Костомаров в «Руине» приводит свидетельство о подобном же путешествии другого современника: великорусский священник Лукьянов, *«проходивши через Украину в то время, когда уже северную часть ее начал заселять полковник Палий, рассказывает, что когда он выступил из Павлочи, последнего жилого места, недавно возникшего Палиева владения, то в течение пути до Немирова пришлось ему идти совершенно пустынею: где прежде были красивые города и большие села, там теперь нельзя было встретить ни человеческого жилья, ни человеческого лица; только дикие козы, волки, лоси, медведи скитались по краю, в котором порою виднелись остатки былого человеческого доволства, одичалые сады с яблонями, сливами, грушами, волоскими орехами. Земля эта показалась такова путешественнику, что он назвал ее золотою, но татары не давали там никому поселиться. Город Немиров стоял один посреди пустыни; он принадлежал полякам и недавно перед тем был разорен татарами; жителей в нем было мало, и те — преимущественно евреи. Там жить было и неудобно, и дорого. По ту сторону реки Буга опять шла пустыня, но уже не ровная, а холмистая, на четыре дня пути вплоть до города Сороки на молдавской границе...»*

Здесь не место подробно описывать все дела гетмана Самойловича до его низложения в 1687 году. Единое, что можно вспомнить и применить к Самойловичу, так это слова Федора Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Впрочем, были ли вообще в истории Южной Руси-Украины и в целом России не роковые и не судьбоносные времена? Самойлович довольно достойно нес «тяготы и зной» многообразных государственных дел, активно участвовал во внутренней и внешней политике государства Российского, с учетом ошибок и грехов предшествующих ему гетманов вел как свои дела, так и общественные, что и позволило ему пробыть на этом высоком посту столь длительный срок. Осмотрительность гетмана отмечает и Костомаров:

«Эти слова показывали, какое взаимное недоверие господствовало в малороссийском обществе: один другого хотел подвести, один другого остерегался. Самойлович, наученный опытами прежних лет, осматривался на все стороны, чтоб его не провели и не вооружили против него в Москве правительство».

«Гетман-попович» заручился добрым расположением влиятельного князя-боярина и военачальника Григория Ромодановского, с которым провел ряд совместных войсковых операций как против правобережного властителя Дорошенка, так и против татар, поляков и турок, но в конце его гетманства дружба и связь с Ромодановским сыграла в судьбе Самойловича роковую роль в его отрешении от гетманской власти. Фаворит царевны Софьи князь Василий Голицын с Григорием Ромодановским враждовал, косвенно недолюбливал потому и гетмана Самойловича, как ставленника и особо приближенного человека Ромодановского, хотя до поры искусно свою неприязнь скрывал. Когда затея большого похода на Крым летом 1687 года провалилась по несчастливому стечению обстоятельств, сам ли Голицын умыслил

виновника отыскать или заботливые наушники из малороссийской старшины ему то подсказали, но Самойловича отстранили, арестовали, обвинили, как водится, в измене, — в мнимую или настоящую измену вполне легко могли поверить начальные люди в Москве: ведь все гетманы, предворявшие Самойловича, рано или поздно предавали Москву, переметывались в стан врагов... А чем — в глазах власть предержащих — был лучше «гетман-попович»? Рано ли, поздно ли — рассуждали бояре, причастные к малороссийским делам, — возобладает типичное украинское двурушничество, как и всегда, и гетман изменит, предаст. Роковая, генетическая неизбежность — оставалось только дожидаться времени X и — по возможности — предварить... Нужно ли мне говорить о том, что порочным путем после Самойловича пошел и Мазепа, то есть, говоря коротко, предательство и измена не стали даже, а попросту были роковым правилом малороссийского исторического бытия, каким-то совершенно необъяснимым проклятьем и обреченностью...

Предыстория же тянулась довольно долго: к 1686 году враждовавшие весь 17 век государства — Россия и Речь Посполитая — наконец-то созрели для заключения так называемого «Вечного мира». Понятно, что «вечным» мир этот так и не стал, и довольно скоро — в 1699 году — химерное сооружение это развалилось. Но некие общие цели все-таки ставились, как то союз европейских государств, состоявший из Священной Римской империи, Венецианской республики и Речи Посполитой, для военного противостояния надоевшей всем Османской империи. Польские дипломаты приложили много усилий для того, чтобы вовлечь в этот союз и Россию, но прежде того требовалось утрясти все спорные межгосударственные вопросы, накопившиеся за время этой бесконечной войны за обладание Малой Россией. «Гетман-попович» был рьяным противником конечного замирения с Польшей и неоднократно изо всех сил пытался убедить московских царей в том, что поляки снова обманут, обедут вокруг пальца и прочее, — да это и понятно: ненависть к бывшим согражданам по Речи Посполитой к этому времени на Руси-Украине стала практически inferнальной.

Уместно здесь снова процитировать «Руину» Николая Костомарова, просящуюю не только истоки, но и насущные причины энергичного противодействия как Самойловича, так и части малороссийской старшины, — хотя, как по мне, Костомаров все же приписывает не присущую Самойловичу глубину государственного размышления о будущности Малой Руси:

«К следующему, новому 1686 году возбудился опять вопрос, заключать ли мир с Польшею и союз с нею против неверных. Как ни старались малороссияне не допустить Москву до примирения с поляками, но виды московской политики не сходились с заветными желаниями малороссиян, тем более, что если бы возобновилась война с Польшею и велась даже с полным успехом для русских, то и тогда выиграли бы от нее более малороссияне, чем Московское государство: освобожденная совершенно от польского владычества, южная Русь, хотя и признала бы над собою власть единовластного московского государя, но всеми силами старалась бы удержать свою национальную самобытность, а по присоединении к ней прочих русских земель, оставшихся у Польши, настолько была бы велика, что Москва нашла бы неудобным противиться ее стремлениям. Но Москва всегда хотела быть централизованною державою, а не федеративною, не такою державою, в которой бы связывалось только единством верховной власти несколько национальностей; такова была, так сказать, исконная традиция Московского государства, и с самого присоединения Малороссии московские государственные люди домогались теснейшего слития присоединенного края, покровительствуя тем малороссиянам, которые, из угодливости властям, отзывались с такими видами. Москва со времени Андрусовского перемирия колебалась, когда являлся вопрос об окончательном мире с Польшею. Противодействия со стороны малороссиян долго мешали успеху в Москве польских предложений, которые стали чаще после неудач, испытанных Польшею в борьбе с Турциею. Теперь могучий любимец царевны Софии Голицын совершенно склонился к мысли о вечном мире с Польшею и о героическом союзе христианства против мусульманства».

Костомаров продолжает:

«Понятно, что малороссияне не могли быть довольны таким исходом многолетней кровавой борьбы, возникшей за свободу их родины. Весть об окончательном соглашении с польскими послами о составлении мирного договора привез к Самойловичу все тот же Леонтий Романович Неплюев. С грустью выслушал гетман царскую грамоту и не утерпел, чтоб не высказать того, что у него было на душе. «Вот увидите, — сказал он, — не всяк из ваших московских чинов будет вас благодарить за то, что поддались польским хитростям и по наущению ляхов хотите мир разорвать с Турциею и Крымом и начать с бусурманами войну!» Смелее выразался гетман по отъезде Неплюева в кругу своих старшин: «Купила Москва себе лиха за свои гроши, данные ляхам. Осъ увидите, что они в том миру, с ляхами учиненном, себе зищут и что против хана

учинят. Жалели малой гачи татарам давать, будут большую казну им давать, сколько татары похотят!» Так говорил гетман, не сообразивши, что слушавшие речи его записывали их втайне, чтоб потом употребить их ко вреду ему. Он не дал повеления молобствовать в церквах по случаю мира...»

И это тоже было замечено и сообщено куда надо.

Итак, Вечный мир с Речью был все же подписан, и этому не смог помешать никакой Самойлович, собственным противодействием лишь вооруживший против себя как московских властителей и фаворитов вроде Василия Голицына, так и неосмотрительно указавший тайные пути для дальнейшей работы против себя таких талантливых царедворцев, как генеральный есаул Иван Мазепа, будущий гетман и будущий же знаменитый изменник. Удивления достойно то, что поляки и королевские дипломаты при заключении этого «Вечного мира» превзошли сами себя: условия «Вечного» мира вступали в силу сразу же после подписания договора, и российская сторона по этому договору дважды — в 1687 и в 1689 годах — отправляла к Перекопу свои громадные, неповоротливые армии. Оба крымских похода закончились неудачами и огромными человеческими потерями, — о масштабах первого похода, в результате которого Самойлович потерял гетманство, я еще буду говорить. Сейм же Речи Посполитой, как ни странно и ни дико это звучит, ратифицировал сей пресловутый «Вечный мир» только... в 1764 году, то есть спустя 70 лет!.. До первого раздела Польши во время этой запоздалой ратификации оставалось всего восемь лет, а еще через двадцать Речь Посполитая и вовсе перестала существовать! Как тут не изумиться невероятной «последовательности» и удивительной «стойкости» польского национального характера?!.. Стоя на краю пропасти, ответственные государственные люди в Варшаве все не могли решить вопрос о *ратификации* древнего договора, сила и смысл которого давным-давно испарилась... Семьдесят лет!.. Это примерно, как если бы СССР признал и ратифицировал наконец-то условия Брестского мира 1918 года — в 1988 «горбачевском» году — и передал ФРГ все, что «законно» по этому договору было аннексировано кайзеровской Германией еще при славном «дедушке» Ленине!..

Весной 1687 года вооруженные соединения России, предназначенные для окончательного решения вопроса, «чей же все-таки Крым», представляли такую картину: 112000 человек, из которых 9100 человек сотенной службы, 17300 казаков и нижней конницы, 10500 московских стрельцов, 26000 кавалерии «нового строя» и 49200 солдат. Кроме того, с армией должны были выступить в поход около 50000 малороссийских козаков Самойловича. Перевозить военные запасы и продовольствие снаряжены были многочисленные обозы, насчитывавшие не менее 100-120 тысяч телег и возов и более 200 тысяч лошадей... Шотландец Патрик Гордон, получивший после этого похода генеральское звание, в своих записках сообщает, что обоз великороссийского войска состоял из 20000 повозок и простирался в ширину на 557, а в длину на 1000 сажень. Правую сторону прикрывал генерал Аггей Шепелев; левую — сам Гордон; в центре находилось пять стрелецких полков... Конечно, такая армада должна была Крым просто утопить в Черном море! Персидская армия царя Ксеркса в 490 году до нашей эры, двинувшаяся утюжить непокорные греческие полисы-города, насчитывала меньше народу. Но не все так просто обстояло с этим роковым полуостровом, и потребовался еще целый век, прежде чем разбойничье турецко-татарское гнездо было окончательно разорено тщанием Екатерины II и князя Г.А. Потемкина в 1783 году. Как зимой 1941 года Москву, помимо беспрецедентного героизма защитников, спас русский бог в виде трескучих невероятных морозов, так и Крымское ханство спасло засушливое жаркое лето: 200000 лошадей и почти столько же военных людей надо ведь было чем-то кормить и поить... Московские стратеги, планировавшие эту кампанию, предполагали, что воду и конский корм можно будет брать в многочисленных речках и на лугах по мере продвижения армии. Но мало того, что Дикое поле накрыли невероятные жары и беспримерная засуха, иссушившая как траву, так и речки с ручьями, так еще и татары засыпали и частью отравили все колодцы на пути движения войск. Начались пыльные бури, но самое страшное было еще впереди: татары подожгли степь, и к невыносимому летнему жару добавился еще и огонь... Вот как живописует эту тяжелую ситуацию Костомаров:

«Нестерпим был зной; во все это лето с весны не было ни разу дождя, по ночам не падали росы, травы посохли, духота и пыль томили ратных людей, у многих разболелись глаза, и более всех терпел гетман, уже прежде страдавший глазною болезнью; он ворчал, говоря окружавшим: «Нерассудная эта война московская совсем лишила меня здоровья! Чертовскую тягость взяла на себя Москва! Восславлись по всему свету, что повоюют Крымское царство, а они себя-то не умеют поборонить. Сидеть бы им у себя дома при нашем промысле да своих рубежей сторожить».

Незадолго перед тем в Молдавии тактику «выжженной земли» татары применили против войска Речи Посполитой. Она показала себя весьма эффективной: поляки

отступили ни с чем. Самойлович при известии о неудаче поляков только порадовался. Не ведал он о том, что подобная ситуация станет для него роковой. Теперь поджог сохлой степной травы татары опробовали на Диком поле против армии князя Голицына. Но гордый боярин не хотел так просто сдаваться:

«Двинулись по выжженной степи. Ратные чуть могли тащиться. Пепельная пыль, взбиваемая ветром и движением войска, разъедала им глаза. Заболевали и люди, и лошади. Но не встречали они ни гонца своего, ни татар; встречали только диких свиней, которые, спасаясь от степного пожара, металась из стороны в сторону».

Голицын в конце концов понял, что до Крыма ему в таких условиях не дойти, но и поворачивать обратно было ему как-то весьма не с руки, требовалось внятное и достоверное обоснование отступления. Иначе как было ответ держать перед малолетними государями и царевной Софьей? Тебе дали прорву денег, снарядили столь многочисленное войско — и ты ничего не достиг?..

По итогам этого злосчастного похода русские войска потеряли погибшими от жажды, голода и болезней, а также и ранеными, ни много ни мало 20000 человек! И это при всем том, что никаких боестолкновений с татарами практически не случилось, о чем сообщал царям сам Василий Голицын:

«Хан с татары на себя... ратных людей наступления пришли в боязнь и ужас, и отложа обыкшую свою дерзость, нигде сам не явился, и юртов его татаровья... нигде не показались и бою не дали...»

Говоря другими словами, войско просто брело по степи неведь куда, теряя ратников и лошадей. Затем повернуло обратно и снова брело по степи... Такой вот бесславный крымский поход. Подобным ему стал и второй крымский поход; вышли, шли, никуда не дошли, повернули назад, снова теряя людей, лошадей, амуницию, пушки...

Победная реляция Голицына, если таковой ее вообще можно назвать, относилась не к первому походу на Крым, жертвой которого стал Иван Самойлович, а ко второму, 1689 года, когда вместо отрешенного от власти «поповича» малороссийских козаков возглавил новоизбранный гетман Мазепа. И снова — необъяснимые, непростительные потери... В 1689 году против крымцев приволокли не без дополнительного труда из Москвы и 70 пушек, но и тут ничего опять не достиг князь Голицын: 50000 человек из общего количества в 112000 были потеряны убитыми и ранеными, а все пушки — до единой — брошены под Перекопом за ненадобностью... И это при том, что кроме мелких стычек с татарами ничего существенного и не было вовсе. Но уже Мазепу, как перед тем Самойловича, Голицын не стал обвинять. Напротив, и второй бесплодный и вполне бездарный поход он представил как удачную «демонстрацию силы», после чего уже крымчаки не посмеют-де тревожить Московское государство. После первого же похода многие военачальники были даже награждены. Так, полковника Патрика Гордона произвели в генералы. Другой военачальник Агтей Шепелев за степные подвиги и лишения был пожалован в окольные, получил за службу кафтан на соболях, золотой кубок и 60 рублей придачи к окладу... Не остался, соответственно, внакладе и сам Василий Голицын. Ну, что же — не откажешь многомудрому, «сыну века сего», князю Василию Васильевичу в сообразительности... Но прежде всех этих заслуг и достижений следовало найти внятную причину или же виновника степной неудачи.

«Это не татары зажгли степь, а сами козаки, — говорили некоторые, — гетман дал им тайный приказ».

«Зачем же это козакам могло понадобиться?» — спрашивали другие.

«Затем, — отвечали им, — что козаки и татары между собою в дружбе и согласии. Козаки не хотят, чтоб царское войско завоевало Крым».

Те, которые чувствовали срам отступления, не выдавши в глаза неприятеля, ухватились за такие толки как за первое средство свалить с себя вину на других. Более всех казалось это полезным самому главнокомандующему, и приближенные к нему особы стали оговаривать Самойловича и объясняли предлагаемую измену гетмана так: *«Ведь козаки без помощи московских войск, но с помощью татар отбились против поляков и освободились из польской неволи. У московского царя выпросили они протекцию уже после и ни за что не хотели зваться царскими холопами, а звали себя царскими подданными. Теперь, когда московские цари окончательно помирились с Польшею и поляки уже уступили Москве свое гедичное право над ними, козаки опасаются: не стала бы Москва держать их так же, как держит своих прочих подвластных, и не укоротила бы их прав и вольностей, добытых кровью, а за свои права и вольности козаки крепко стоят. Есть между козаками такие, что попрозорливее прочих, и гетман их именно из таких: те смекнули, что выйдет, когда Москва Крым завоюет! И крымские татары, как и козаки, почитают себя людьми вольными; царь их, крымский хан, управляет своими подвластными, насколько те ему позволяют; и татары и козаки служат на войне без жалованья; оба народа одинаково дорожат своими привилегиями. Вот они между собой и поразумели, что им надобно груг за гру-*

га стоять, потому что конечное покорение одного народа отзовется вредно на другом. Козаки разочли, что государи поопасаются нарушать их права и вольности, если оба народа, козаки и татары, живучи между собою в дружбе и союзе, будут готовы поднятьсь огни за других».

Как это ни странно, но здоровое зерно все-таки было в таком рассуждении. Мне, конечно, неведомо насколько эта обширная цитата из Костомарова документально подтверждена самим уважаемым историком, откуда он почерпнул подобное умозаключение — ведь в 19 веке наши историки зачастую сочиняли беллетристику вроде Казимира Валишевского или, скажем, современного Валентина Пикуля, баловня советской окологисторической прозы, не утруждая себя строгим следованием источникам. Я вполне допускаю, что такая мысль была вложена в уста безымянных героев первого похода Голицына в Крым самим Костомаровым, которому уже было известно, как эта политическая умозрительная схема воплотилась в недавней русской истории: в связи с завершившейся русско-турецкой войной 1768-1774 годов и дальнейшей «ползучей» интеграцией Крыма в состав Российской империи, о чем я, конечно, не буду рассказывать. Запорожская Сечь по распоряжению Екатерины II была ликвидирована, а исконные запорожские вольности — Великий Луг и притоки Днепра — были заселены теснимыми в Османской империи сербами, волохами и болгарями, — им было, так сказать, оказано покровительство конфессиональное, но и для немецких колонистов, земляков Екатерины II, тоже место нашлось на бывшей земле козаков, о чем сокрушался в «Кобзаре» Тарас Шевченко:

*І на Січі мудрий німець
Картопельку садить, а ви її купуєте,
Їсте на здоров'я. Та славите Запорожжя.
А чисю кров'ю ота земля напоєна,
Що картопля родить, — вам байдуже. Аби добра
Була для городу! А чванитесь, що ми Польщу
Колись завалили!.. Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила...*

Положение еще более осложнилось, когда громадное войско подошло к реке Самаре, — оказалось, что мосты для переправы, наведенные перед тем воеводой Неплюевым, сгорели: в этом тоже усмотрели зловерные козни гетмана Самойловича, сваливая на него упорное нежелание идти в фарватере московской политики в деле покорения Крыма и борьбы с Османской империей в составе Священной лиги европейских государств, ради чего, собственно, и заключался «Вечный мир» с Польшей. Обвинить Самойловича было очень легко: козаки успели переправиться через реку, а когда пришел черед для переправы стрелецких полков, мосты чудесным образом... загорелись.

«Козацкие старшины нашли удобным из этого случая сделать новый пункт обвинения на Самойловича в своем доносе: как будто гетман умышленно приказал это сделать, чтоб оставить великороссиян отрезанными. Потрачено было немало времени и трудов на построение вновь этих мостов... — сообщает нам Костомаров, и продолжает: — Двигаясь далее, войска 7 июля остановились у речки Кильчени. Здесь генеральные старшины, обозный Борковский, судья Воехович и писарь Прокопович, полковники Солонина, Лизогуб, Гамалея, Дмитрашко Райча и Степан Забела, да Кучубей подали донос боярину князю В.В. Голицыну. Подозревают, что главным правщиком здесь был Мазепа, и подозрение это основательно, потому что впоследствии старшины спрашивали частным образом у Голицына, кого бы он желал видеть гетманом, и Голицын указал им на Мазепу...»

Как научила нас недавняя подсоветская жизнь, имя главного зачинщика доноса утаивается в анналах политического сыска и называются лишь второстепенные герои затеи. Так и здесь: Солонина, Лизогуб, Гамалея и прочие, но только — не Иван Степанович, будущий гетман. Он — невиновен в подкопе под гетмана Самойловича... Имя Мазепы — светло, непорочно и чисто...

Анекдотично здесь и поминание имени Григория Гамалеи, значного товарища, прославленного со времен Хмельниччины козака, будущего Лубенского полковника, в числе подписантов доноса. Ивану Самойловичу позже, как одну из вин, ставили на вид то, что однажды на общем пиру военачальников Гамалея в пылу спора сказал резкое слово московским боярам, что, мол, Малую Русь Москва «не саблей взяла», а мы, мол, по доброй воле под ваш покров подались. Самойлович же, вместо того чтобы осадить зарвавшегося хмельного товарища перед высокими сотрапезниками, ничего не сказал, да еще и усмехнулся в усы... Гамалея — среди авторов-подписантов доноса в Москву, а в том, что он говорил, виноват Самойлович... Вот нечего было ему усмехаться!..

Генеральный есаул Запорожского войска Иван Мазепа — фигура во всем

примечательная. Он обладал редкостным даром *нравиться* кому бы то ни было, — и это совершенно удивительное свойство его характера сделало его человеческую и политическую судьбу невероятно удачной, плодотворной и славной. Только под конец жизни, со шведами, он несколько просчитался, «прославившись», как известно, уже несколько по-другому. Хотя присутствие портрета гетмана на украинской купюре достоинством 10 гривен свидетельствует о том, что я далеко не все понимаю в устройстве как этого мира, так и в целом жизни Ивана Степановича. Денежная купюра — это вам не какая-то там жалкая марка Почты Украины. На червонцах и других деньгах высокого достоинства советской поры с середины 1950 годов, кроме профиля Ленина, никого не изображали.

Прежде чем закончить повествование о злосчастной судьбе «гетмана-поповича», надобно сказать несколько слов о нашем новом герое, вкрадчивой стопой входящем в мою летопись, о Мазепе. Едва ли не сразу мы находим его уже при дворе короля Яна Казимира в числе «покоевых дворян». При этом не совсем все же понятно, каким образом он попал в королевское окружение. Благодаря такой близости к королю Иван Степанович получил якобы блестящее образование: сообщается, что он «учился в Киево-Могилянской академии, в Иезуитском коллегиуме в Варшаве, в Голландии, Италии, Германии и Франции, свободно владел украинским, русским, польским, татарским, латынью. Знал он также итальянский, немецкий и французский языки». Имел прекрасную библиотеку на иностранных языках и много читал и был, по всей видимости, самым образованным и просвещенным из череды малороссийских гетманов. Любимой книгой Ивана Степановича был политический трактат Никколо Макиавелли «Государь». Так это или же иначе, мне трудно судить. Бесконечная война с Москвой, которую вела Речь Посполитая, придворная жизнь и некоторые обязанности, которые ему приходилось выполнять, по всей видимости, как-то не мешали 26-летнему русскому шляхтичу ездить по европейским столицам, просвещаться в тамошних университетах и учить языки. И все же я повторю, что не совсем понятным остается то, каким образом Мазепа попал в королевское окружение. По одним источникам, он унаследовал от своего отца в 1665 году должность королевского подчашего в Чернигове, которую польский король пожаловал накануне отцу, — хотя и тут закавыка великая: Чернигов уже с 1654 года не находился во власти Речи Посполитой, — разве что в ноябре 1663 года король Ян II Казимир, правобережный гетман Павел Тетеря и крымские татары 50-тысячным войском прошли здесь военным походом на Глухов, пытаясь овладеть городом, но вскоре, зимой 1664 года, польская армия откатилась назад.

«Отступление это длилось две недели, — сообщает в своих записках французский посланник и офицер польского короля герцог Антуан де Грамон, — и мы глумились, что погибнем все. Сам король спасся с большим трудом. Наступил такой большой голод, что в течение двух дней я видел, как не было хлеба на столе у короля. Было потеряно 40 тысяч коней, вся кавалерия и весь обоз и, без преувеличения, три четверти армии. В истории истекших веков нет ничего, что можно было бы сравнить с состоянием такого разгрома».

В этой связи очень сомнительно, что Яну Казимиру в этой неразберихе нечем было больше заняться, как жаловать Мазепу-старшего должностью подчашего Черниговского, которую после его смерти в 1665 году вроде бы унаследовал Иван Степанович, который тут же каким-то чудесным образом, как в сказке, оказался уже даже придворным доброго польского короля. При этом следует все-таки еще раз отметить, что Ян Казимир считается самым неудачливым и невнятным королем Речи Посполитой из всей вереницы предшествовавших ему и следовавших за ним королей. На его королевскую пору выпала страшная по последствиям гражданская война Богдана Хмельницкого и потеря Южной Руси-Украины; знаменитый Шведский Потоп, во время которого Речь Посполитая едва не пошла ко дну, а сам злосчастный король бежал в Саксонию, бросив на произвол судьбы погибающее государство, теснимое отовсюду; 13-летняя изнурительная война с Москвой за обладание Украиной; потеря значительной части Великого княжества Литовского; Андрусовское перемирие, упрочившее на последующие века все те территориальные утраты, которые стали роковой неизбежностью для Речи Посполитой с 1648 года... Политическая же судьба короля закончилась тем, что он в 1668 году отрекся от престола и с этой горящей, окровавленной, несчастной земли убыл доживать в мире и в довольстве оставшиеся годы во Франции, став таким образом последним королем из шведской династии Ваза. Что сказать на это? Подвели Вазы Речь Посполитую к пропасти со своей унией и с римским приветом от Общества Иисуса, да и спихнули в нее...

Что за дело было несчастному Яну Казимиру до каких-то там деревенских «черниговских подчаших», а тем более до их сыновей и до образования их в европейских коллегиумах?

Не проясняет ситуацию и уважаемый историк Николай Костомаров, причем

появление Мазепы на Украине сдвигается хронологически: из его монографии следует, что Иван Степанович как раз прибыл сюда во время польского похода на Глухов в 1663 году, затем отстал от поляков, другими словами говоря, дезертировал из армии (ясен пень, по патриотическим побуждениям, ну не хотел будущий прославленный гетман с купюры достоинством в 10 гривен участвовать в осаде славного города Глухова как будущей столицы Гетманщины) и вернулся к отцу, а потом примкнул к правобережному гетману Петру Дорошенку. Костомаров подробно пересказывает смачные легенды, которыми обросла придворная жизнь Ивана Степановича, наполненные захватывающими подробностями его амурных походов, побед над впечатлительными панянками, с преследованием обманутыми мужьями, тайными переписками, захватами и издевательствами над ним. Так некий ничтожный шляхтич Фальбовский, не ведая о том, с каким великим в будущем человеком он дело имеет, раздел пойманного в прелюбодеянии Ивана Степановича догола, вымазал детем, изваял в пуху, посадил, опутав веревками, задом наперед на необъезженную лошадь, связав под брюхом у нее ноги будущего героя Украины и кавалера ордена Андрея Первозванного, и пустил сквозь заросли диких груш и терновника, после чего Мазепа чуть Богу душу свою не отдал. И все в таком духе... Но все же эти анекдотичные истории никак не проясняют ни образования, чудесным образом полученного Мазепой в перерывах между альковными приключениями, ни самого факта попадания в близкий круг польского короля, ни последующего возвращения в кипящий исторический бульон малороссийской Руины. Мифологизация этой фигуры явно просматривается в статье о Мазепе в Википедии:

«Отец, Агам-Степан Мазепа, был одним из соратников Богдана Хмельницкого. Принимал участие в Переяславских переговорах с русскими боярами. Не поддержал Переяславский договор и в дальнейшем принимал участие вместе с гетманом Выговским в создании Великого княжества Русского в составе Речи Посполитой, однако результатов не добился. В 1662 году польским королем был назначен на должность подчасшего черниговского и эту должность занимал вплоть до своей смерти в 1665 году...» Современный российский исследователь Т.Г. Таирова-Яковлева в своей монографии «Мазепа» утверждает, что отец и брат Марины, матери Ивана Степановича, были старшинами у Хмельницкого и погибли в боях с поляками — отец под Чортковом (1655), а брат на Дрожи-поле (1655).

То есть, расшифровывая эту загадочную клинопись, получаем следующее: Мазепа через отца вроде бы генетически связан с Хмельничщиной, но вместе с тем — отец не поддержал Переяславских статей; затем старший Мазепа — сторонник гетмана Выговского и мертворожденного проекта Русского княжества, пожалован высокой милостью из рук польского короля; при этом дед и дядя тоже национальные герои, погибшие в битвах с поляками... Мало что известно о делах Мазепы в орбите Петра Дорошенка, правобережного гетмана. Учитывая воинственность Дорошенка и его противостояние всем окрестным государям, учитывая также и то, что Мазепа был в его войске при очень ответственной должности, можно только предположить о том, сколько скелетов осталось в шкафу у него. «И нашим, и вашим» — всем хорош, всем любезен был наш Иван Степанович.

Я вполне допускаю, что эта двусмысленность энциклопедического образа Ивана Мазепы несет на себе также и печать десятилетий государственной независимости Украины, переосмысления исторической роли Мазепы, когда из записного и самого ужасного на века предателя, даже анафемствованного церковью, каковым его почитала прежде имперская, а затем советская историография и пропаганда, он, по мановению Беловежских соглашений 1991 года и всего, что за ними последовало, превратился в горячего патриота Украины, «вышедшего в поле до света», пытавшегося привести свой народ к государственной самостоятельности, но был все же не понят темной массой козачества и посольства Южной Руси-Украины. Как прежде были не поняты Выговский, Брюховецкий, Дорошенко, Юраско Хмельницкий, а после Мазепы — Филипп Орлик и прочие «самостийники»...

Мифологизация и призрачная зыбкость образа Ивана Степановича заканчивается тогда, когда начинается его реальная карьера. Вернувшись на Украину и осмотревшись, он женился на богатой вдове белоцерковского полковника Анне Фридрикевич и через своего тестя, генерального обозного Семена Половца, выдвинулся в ближайшее окружение Петра Дорошенка, стал прежде ротмистром гетманской надворной гвардии, а затем — генеральным писарем. Целых пять лет Иван Степанович был верным и исполнительным сподвижником Петра Дорошенка, самого серьезного противника Москвы.

Одно из порученных ему дел — конвоирование в Крым в подарок султану 15 левобережных козаков — весьма симптоматично и показательно для понимания как нравов эпохи, так и национальной, так сказать, «свидомости» Ивана Степановича, да

и гетмана Дорошенка тоже, конечно. «Живой товар» из своих же сородичей, козаков и крестьян, был всегдашней разменной монетой для начальствующих в народе. Никто не переживал и не парился моральной стороной дела. Так и теперь, в июне 1674 года, Мазепа гнал к Перекопу 15 русских людей, подарок союзникам от доброго, щедрого сердца Петра Дорошенка. Вез также и некие тайные письма с разбором союзнических ролей и договоренностей, как и когда удобнее туркам совместно с татарами приходиться разорять Русь-Украину, набирать здесь очередные «живые полоны» и жечь города. В отряде, кроме 15 человек подарочного «ясыря», было и 9 татар охранения. Но в этот раз вмешалось всевидящее провидение, — видно, не до конца еще испила Русь-Украина чашу гнева Господня: на отряд случайно вышли запорожские козаки, шедшие в поход от Сечи к Южному Бугу.

«Запорожские товарищи Алексей Борода и два брата Темниченки остановили Мазепу, побили татар, бывших с ним, освободили христианских невольников, а самого Мазепу доставили своему атаману с перехваченными письмами. Запорожцы пришли в сильное негодование, как увидели, что дорошенков посланец вел христианских невольников в дар бусурманам, и хотели убить Мазепу, но его отстоял Сирко. «Не убивайте, братцы, этого человека, — говорил он, — быть может, он на что-нибудь отчизне и пригодится!» И запорожцы ограничились тем, что только заковали Мазепу, а Сирко известил о том гетмана Самойловича», — так повествует о выходе Мазепы на общерусскую политическую арену Николай Костомаров.

В этом эпизоде уже отчетливо просматривается невероятный по силе дар Ивана Степановича нравиться кому бы то ни было. Прежде им было очарован правобережный гетман Петр Дорошенко, вознесший его к самым вершинам старшинства, теперь его рьяным защитником и приверженцем становится многомудрый кошевой атаман Запорожья Сирко, опытный воин, горячий и бескомпромиссный патриот Украины, — но и его бескомпромиссность и патриотизм с легкостью побеждены Иваном Степановичем: несмотря на явное преступление перед человечностью и союзнические письма к злейшим врагам Запорожья, Мазепу не только оставляют в живых, но еще и не хотят выдавать Самойловичу для разбирательства, выдвигая стародавний обычай, что с Сечи, мол, выдачи нет. Чтобы заполучить знатного пленника, Самойловичу с Ромодановским пришлось арестовать жену и зятя Сирка, которые жили где-то под Харьковом, и те слезно умоляли из своего заточения неспясаемого легендарного атамана все-таки выдать для разбирательства начальству ценного пленника, и только после долгих увещаний родных того передали с рук на руки Самойловичу. С ним Мазепа провел всего-то два дня, но успел за это краткое время так расположить к себе «гетмана-поповича», что уже теперь и сам Самойлович с нескрываемой неохотой отпустил Мазепу в Москву для обязательных и понятных расспросов в Малороссийском приказе.

«Повторяю тебе то, о чем говорил с тобою при свидании и в чем дал тебе слово. Ты останешься в целостности при всех своих пожитках со всем своим домом. Пошлю с тобою Павла Михаленка, полкового писаря нежинского, он тебя и в Москву, и назад из Москвы будет провожать. Только ты в Малороссийском приказе откровенно расскажи все, что нам здесь говорил о дорошенковых замыслах и о хане, и о Сирке, и об ином обо всем, никакого дела, хоть и малого, не утай! Желаю тебе счастливого пути и скорого к нам возврата», — так напутствовал Мазепу перед отправкой в Москву Самойлович. Иван Степанович расположил к себе не только гетмана и всемогущего воеводу Ромодановского, но «сразу понравился он, кому нужно было, и в Москве», — говорит Костомаров.

С той поры Иван Степанович ежегодно ездил в Москву, стал там вполне своим человеком, Дорошенко был быстро и крепко забыт, да и оставалось ему гетманствовать на Правобережье всего два года — дни его были уже сочтены. Все секреты Дорошенка были выложены без утайки в Малороссийском приказе в неложной надежде на блестящее будущее. Здесь тоже просматривается определенное свойство характера Ивана Степановича: перемена патрона и благодетеля тогда, когда это выгодно самому пристальному читателю и почитателю «Государя» Макиавелли — в 1674 году он с легкостью предал Петра Дорошенка, в 1687 году — Ивана Самойловича, в 1708 году — Петра I... Ничего личного, как говорится, это просто «бизнес»... Но свою горькую чашу запоздалого прозрения малороссийскому гетману еще предстояло испить. Самойлович, по возвращении Мазепы из Москвы, поручил ему — ни много ни мало — воспитание и учительство собственных детей, затем присвоил Ивану Степановичу звание войскового товарища, а через несколько лет пожаловал его чином генерального есаула, — то есть Иван Степанович, пленник Ивана Сирка, прикованный цепью к пушке и едва избежавший смерти, совершил головокружительный кульбит и стал вторым по значимости — после самого гетмана — человеком в войсковой иерархии. Редкий талант, что тут скажешь еще...

Неудача первого похода на Крым и происки — условно говоря — старшины, не буду голословно чернить светлого облика Ивана Степановича, стали счастливым случаем к вождленному гетманству самого генерального есаула. Князь Голицын, который к Мазепе тоже был весьма расположен, дал ход доносу старшины, присовокупив и свои подозрения относительно Самойловича. Да и нечего было особо искать огрехов «поповича». Должно быть, десятки и сотни раз на пирах и в узком кругу он не очень лицеприятно выражался о московской политике, о текущих каких-то делах, особенно же не нравился ему «Вечный мир» с Речью Посполитой и предстоящая борьба с Крымским ханством. Относительно этого, по всей видимости, он обладал какой-то своей, «инсайдерской», информацией и так говорил:

«Не послушала таки мене дурная Москва, замирились з ляхами! приходит, однако, время: станут скоро меня просить, чтоб я стал посредником к примирению между Москвою и Крымским государством. Только я буду знать, как их примирить. Будут они меня памятовать; будут ведать москали, как нас почитать!»

Но время подобной свободы уже безвозвратно прошло.

Конечно, хотя Почта независимой Украины почтила память Ивана Самойловича филателистической маркой, не стоит лепить из него какого-то ангела-прозорливца. Расхожее мнение, что власть развращает и губит людей, во всем спектре приложимо к «гетману-поповичу». За 15 лет начальствования над подвластным ему малороссийским народом он много чего неприглядного и постыдного наворотил, и многое ставится ему в вину: невероятная гордыня, чванство, высокомерие, алчность и самоуправство... Кроме того, многие экономические начинания, которые московская верховная власть вводила в Гетманщине, ввиду новой войны с турками, и о которых сообщают источники, что Самойлович «согласно постановлению старшин, утвержденному московскими властями, завел оранды (отдачу на откуп) на винную, дегтяную и тютюнную (табачную) продажу сроком на один год и стал чеканить в Путивле особую монету под названием «чехи», — приписывались народной молвой самому Самойловичу, что, мол, он для себя самого и для личного обогащения ввел эти «оранды», которые скоро стали ненавистны всем жителям Гетманщины.

«Малороссиян Самойлович восстановил против себя высокомерием, алчностью и самоуправством. Не только с народом, но и с знатными людьми «гетман-попович» держал себя как самодержавный геспот. Самойлович окружил себя людьми мелкими, которых сам возвысил; раболепствуя перед ним, они от его имени дозволяли себе всякие бесчинства. Во всей Гетманщине в управление Самойловича не было ни суда, ни расправы без взяток. Масса народа стонала под игом оранд и налога за помол. Поборы эти взымались с разрешения московского правительства и шли на содержание войска, но народ приписывал их алчности и произволу Самойловича», — так сообщает нам беспристрастная Википедия. Костомаров в неоднократно цитированной мною «Руине» добавляет красок погуще к нравственному портрету гетмана:

«Даже к духовному сану не оказывал он уважения, забывая, что сам по происхождению был попович. Когда случалось ему быть в церкви, он не ходил с прочими богомольцами получать антидор из рук священника, а священник должен был сам подносить его гетману, что соблазняло тогдашнее малороссийское общество; а если, куда-нибудь едучи, например, хоть бы на охоту, встречал гетман священника, то считал это для себя дурным предзнаменованием и гневался на священника. По выражению поганной на него старшинами похвальной, старшины от его похвальных слов и гнева бывали «как мертвы» и каждый час могли ожидать себе всего дурного. Малороссиян соблазняло даже и то, что этот разбогатевший и расчванившийся гетман-попович ездил не иначе как в карете, и сыновья его, полковники, усвоили такой же панский обычай, противный для малороссиян, так как он напоминал им польских панов. Алчность гетмана и сыновей его, казалось, не имела пределов: за получение урядов брались посулы, а получившие эти уряды старались вознаграждать себя всякими утеснениями над подчиненными; без взяток не было приступа к гетману, а кто ничего не даст, тот ничего и не добьется».

Но алчность, чванливость, взяточничество и непомерная гордыня ничего не значили в контексте общерусской многообразной жизни что в ту давнюю пору, да и потом, впрочем, тоже. Кого удивит мздоимством что тогда, что теперь? Великорусские вельможи, да тот же Василий Васильевич Голицын, нажили богатства гораздо более значительные, чем Самойлович, будучи приближены к великодержавной «кормушке». Недовольство Москвы Самойловичем накапливалось все 15 лет его гетманства: то он самовольно сносился с польским королем и ратовал за Правобережье Днепра, доказывая полякам исконную принадлежность козакам этих запустелых спорных земель — поляки сперва удивлялись ражему напору гетмана через голову московских властей, а потом о том доносили в Москву, Самойлович тут же сдувался и слезно просил простить его за политическое самоуправство, то снова и снова противодействовал

«Вечному миру» с Речью Посполитой: так в начале 1685 года отправил в Москву Кочубея с инструкцией, в которой подробно описывались коварные поступки поляков и излагались желания малороссиян — отнять у поляков русские исконные земли (Подолье, Волынь, Подляшье, Подгорье и всю Червоную Русь) и заступиться за православную веру, терпящую гонения и поругания в польских областях, — но все эти самочинные инициативы Самойловича шли вразрез с планами Василия Голицына вступить в Священный союз европейских держав, главным условием которого как раз и было конечное замирение с Речью Посполитой. Помимо того, «попович» не держал язык за зубами, непотребно комментировал внешнеполитические события, неверно трактовал намерения и послылы европейской высокой политики, которой весьма стремился достойно соответствовать князь Василий Голицын. Так, к примеру, *«разразился веселым смехом, когда ему сказали, что поляки ушли со срамом из Молдавии, а татары, ворвавшись на Волынь, наделали там опустошений. Беседа с генеральным бунчужным Полуботком, гетман говорил: «Ах, как бы я был рад, когда бы яхли в Волоской земле, утесненные татарами, помирились! Чай бы Москва и нас тогда узнала и не почитала бы нас легко за то, что мы хотим соблюсти приобещанную и надежную дружбу с Крымским государством»; Полуботок, хотя и преданный Самойловичу, проговаривался о его отзывах перед теми, которым они пригодились ко вреду гетмана»*. Об этом и о многом другом рассказывает Костомаров. Ну, и ментальная память о прежних изменниках-гетманах подспудно тлела в Москве, и, по правде сказать, кто из них со времен Богдана Хмельницкого остался до конца верен власти московских царей? Никто и ни разу. Колебался даже Богдан, — не зря же его честили почем зря даже на смертном одре московские послы окольных Федор Бутурлин и дьяк Василий Михайлов за автономные действия старого гетмана в 1657 году против Речи Посполитой, которые шли вразрез с текущей политикой Москвы и с тактическим замирением ради совместного противодействия Швеции. И ведь тоже, — какая ирония, — Богдан тогда, как и Самойлович теперь, был решительным противником перемирия с Польшей!.. Хотя и прославился «гетман-попович» верностью и неукоснительностью исполнения приказов и распоряжений московских стратегов, особенно в деле непростого и долгого укрощения Петра Дорошенка, хотя и снискал он благодарности и богатые дары от царей за различные военные кампании во взаимодействии с великорусскими воеводами, но под спудом победных реляций не угасал все-таки уголек недоверия, и кое-кому в Москве мнилось, что малороссийский гетман только ждет удобного случая для измены. Ну что же тут скажешь? — тенденция эта стала печальной традицией на земле Гетманщины.

Вот и теперь, в первом крымском походе, неудачном во всех отношениях, но объявленном Голицыным все же удачным и даже, как ни странно, победным, виновника поджога степи и сожжения мостов через Самару быстро нашли. Приносимую жертву воевода согласовал с козацкой верхушкой, и старшины с радостью отдали на заклание своего гетмана. Впрочем, вероятно, так бывает всегда... Сыграла определенную роль и корыстность великорусских воевод, поспешивших к предполагаемой богатой и легкой добыче. Воевода Леонтий Романович Неплюев близ Кодака нейтрализовал полк сына Самойловича Григория, куда тот удалился по приказу о разделении войска при отступлении от Перекопа, чтобы сын-полковник не отправился отбивать отца, узнав о его низложении. Неплюев приказал заковать Григория в кандалы, и, как скромно говорит о том летописец, все имущество арестованного Неплюев взял «до своей ласки и протекции», то есть присвоил. Именно за утраченное добро младший сын Самойловича, черниговский полковник Григорий, поплатился жизнью, а вовсе не за то, что было прописано в скором приговоре его на казнь. Неплюев писал об этом в Москву:

«...и по вашему, великих государей, указу Гришке Самойлову у казни его воровские, затейные и непристойные слова и измена сказана и казнен смертью, отсечена голова, ноября в 11 числе нынешнего 1687, а у казни был солдатского строя полковник Тимофей Фандервидин».

Причем, видимо, по сугубо личным причинам и крайнему нерасположению самого Неплюева, казнь Григория еще была и ужесточена, чтобы помучился: Григорию отрубили голову не сразу, а в три приема.

Историки и бытописатели усматривают в этой расправе Неплюева с младшим сыном гетмана Самойловича известную бандитскую практику: боярин просто уничтожил опасного свидетеля, которого перед тем обобрал, и замел следы, — по всей видимости, имущество, которое ему удалось захватить под Кодаком, было весьма значительным и весомым. По итогам же похода Леонтий Романович, как «победитель» татар, которых даже на окоме никто не видал, и активный пособник в раскрытии «заговора» Самойловича, получил в награду от малолетних царей золоченый кубок с кровлею, кафтан золотный на соболях, 150 рублей денежной придачи и 4 ефимка на вотчину. Но это были уже сущие мелочи по сравнению с тем, что досталось ему

трофеем от младшего Самойловича.

И все-таки надо еще сказать буквально несколько слов о том, как Леонтий Неплюев закончил свою многотрудную жизнь. Ведь все в конце концов заканчивается. Неправедное имущество не сделало его счастливей, хотя после второго похода на Крым цари пожаловали его званием боярина и очередной денежной дачей, но недолго он тешился новой честью: в сентябре 1689 года молодой царь Петр отстранил от власти свою сестру Софью и приказал арестовать главу Стрелецкого приказа Федора Шакловитого (ему отрубили голову у стен Троице-Сергиевой лавры), а также князя Василия Голицына, его сына Алексея и Леонтия Неплюева. За неудачу второго похода на Крым — формально, а на деле за то, что он принял активное участие в противостоянии Петра и его старшей сестры, сделав ставку не на ту партию, Неплюева осудили на лишение чести, звания и всего имущества и сослали сначала в Пустозерск, где когда-то он, в недавние счастливые времена, был воеводой и ведал земляной тюрьмой, в которой 14 лет томился неугомонный протопоп Аввакум, а в 1690 году его отправили в Кольский острог. Из Колы опальный военачальник посылал челобитные с жалобами на тяжелое положение «в таком дальнем и бескормном месте». Но затем бывший боярин осмотрелся и купил в Коле дом, где разместил то, что ему оставил в утешение молодой царь, — библиотеку для чтения и размышления о бренности и суетности бытия и о непечности, непостоянности счастья, на жалкие остатки денег, невесть как сохраненные, приобрел он промысловые станы на Аникиевом острове и рыболовецкие суда, и стал рыбу ловить, чем благополучно занимался восемь лет до своей смерти в 1698 году. Несметные сокровища его, добытые неправедно под Кодаком, за что младший Самойлович заплатил своей головой, были конфискованы в государственную казну. Примерно такая же участь постигла и Василия Васильевича Голицына, всемогущего временщика и любимца царевны Софьи Алексеевны: Петр и его лишил всех званий, поместий и капиталов, оставив, правда, княжеское пустое достоинство, и сослал со всем семейством в северные дебри, где в 1690 году, во время зимовки на Мезени в Кузнецкой слободе, Голицыны встретили семью протопопа Аввакума Петрова. Последним местом бессрочной ссылки Голицыных стал Пинежский Волок, где Василий Васильевич умер в 1714 году, пережив всех своих прежних товарищей и соратников — и царевну Софью, и Ивана Самойловича, и Леонтия Неплюева, и гетмана Ивана Мазепу... Мне вот весьма интересно, что чувствовал и что ощущал князь Василий Васильевич в 1709 году, когда до Пинежского волока дошла весть об измене Мазепы делу Петра? Ведь это он, тогда всемогущий, помог Мазепе возвыситься прежде до генерального есаула, а затем и до гетмана Руси-Украины, это он Мазепе во всем покровительствовал и во всем потакал, а после падения всемогущего временщика Мазепа еще и притопил бывшего благодетеля, а заодно и Неплюева: с документами и точными цифрами на руках уличил низвергнутых в прах воевод в постыдных мздоимстве и алчности, причем сам же еще выступил в роли жертвы, само собой разумеется. Вот как рассказывает о том Костомаров:

«Через два года после описываемых событий Мазепа представил роспись деньгам и вещам, данным от него Голицыну в виде взятки, всего на 17390 рублей, из которых 11000 было дано наличною монетою, а прочее серебряными и золотыми вещами и дорогими тканями. Это, как показывал тогда Мазепа, дано было более поневоле, чем добровольно, с погущения и беспрестанных угроз Леонтия Романовича Неплюева, которому особо дано было 2000 червонцев и на две тысячи разных драгоценностей: все это поступило из конфискованного тогда домашнего имущества Самойловича. Из этого известия видно, что при отрешении Самойловича действовали взятки, данные или обещанные Мазепею сильному временщику».

Кто же в сухом остатке остался при делах и в фаворе? Да-да, именно Иван Степанович Мазепа, гетман малороссийский! Голицын с Неплюевым пошли ко дну и безвозвратно убыли доживать свои дни на подзолах и в дебрях Русского Севера, а Иван Степанович очаровал и влюбил в себя свою новую жертву, юного Петра, восходящего в силу, чтобы со временем предать и его. Хитрый хохол перехитрил всех и даже будущего российского императора, а заодно — так уж у него получилось — и себя самого... Через 280 лет — всего ничего — эти мазепинские дела будут истолкованы как бескомпромиссная борьба за независимость Украины...

Но это — уже другая история и другой разговор.

Но вернусь к первому походу на Крым и к падению гетмана Ивана Самойловича.

12 июля того злосчастливого для Самойловича лета 1687 года из Москвы прибыл думный дьяк Шакловитый. Князю Голицыну от царей объявлена была высочайшая благодарность за понесенные войсковые труды, а Самойловичу был задан вопрос: зачем он зажег степь?.. Что бы ни ответил на это странное обвинение гетман, все менялось ему в злонамеренную и преступную ложь. Соединенное войско тем временем продолжало отступать. 21 июля на стоянке на реке Коломак гетманскую палатку передали на

охрану московским стрельцам, — козацкий летописец сообщает по этому поводу, что Самойлович якобы сам попросил для себя охрану из великороссов, потому что уже не доверял своим козакам, — ночь он провел во вполне объяснимой тревоге, поутру отправился в походную церковь к заутрене. Во время чтения Шестопсалмия в церковь вошла вся козацкая старшина, но богослужение отнюдь не было прервано. После отпуска Самойловича грубо вытолкали из церкви.

«Тогда на него посыпались упреки и ругательства, а киевский полковник замахнулся на него обухом, но товарищи удержали его, ограничиваясь только тем, что по малороссийскому обычаю обзывали «скурвым сыном» своего гетмана, перед которым еще накануне не смели стоять в шапке...»

Так и проходит слава земная...

Гетмана в простой тележке доставили в ставку Голицына, сына его Якова, стародубского полковника, посадили на клячу без седла. Хорошо еще, не как прежде молодого Мазепу, лицом к хвосту... Голицын спросил у старшин:

«Не затеяно ли все это вами из досады и ненависти к гетману по каким-нибудь частным оскорблениям, которые могли бы вознаграждаться иным путем?»

На этот вопрос последовал такой ответ:

«Хотя много досад и оскорблений делалось от него многим из нас и всему народу малороссийскому, но мы бы не посмели поднять на него рук, если б он не был изменник; теперь же, по долгу присяги, нам умолчать невозможно. Он так ожесточил против себя всех, что нам стоило немалого труда удержать народную злобу, а то его растерзали бы козаки».

Тут полковник Дмитрашка Райча замахнулся на Самойловича саблей, но его остановил князь Голицын:

«Он приведен сюда для того, чтоб судить его, а не для того, чтоб его убивать без суда незаконно!»

Каково же было самому Самойловичу переносить эти надругательства и поношения от его ближайших сподвижников? Только что обухом на него замахивался киевский полковник Константин Солонина, а теперь саблю занес на него Дмитрашка Райча, — а ведь 15 лет назад, в 1672 году под Конотопом, именно эти двое и возводили его в гетманское достоинство... Искупали ошибку? Были такими уж праведниками?

«Переяславский полковник Дмитрашко Райча и киевский полковник Константин Солонина подхватили его под руки и поставили на стол. Генеральный обозный Петр Забла преподнес Самойловичу булаву, другие полковники покрыли его флагом и окутали бунчуком...»

И вот что теперь...

Конечно, были у Дмитрашки Райчи свои счеты с поверженным гетманом: в августе 1674 года за что-то Самойлович сместил его с полковничьей должности, и мстительный Дмитрашко дважды принимал участие в заговорах против гетмана (1676-1682 гг.), и во второй раз, подозреваемый даже в сношениях с поляками, был приговорен к смертной казни, которая была назначена на 5 февраля 1683 года. Но он как-то избегнул ее, был прощен и вот теперь, приняв участие в этом неудачном походе на Крым, мстительно содействовал падению своего врага-гетмана.

Когда весть об аресте и отрешении от уряда гетмана Самойловича разнеслась по всему войску, тотчас среди козаков начались беспорядки, но отнюдь не в защиту Самойловича, а, напротив, из-за всеобщей ненависти к нему и к его управлению, как рассказывает о том Костомаров. В беспорядках и мятеже особенно отличились козаки Гадяцкого полка — они убили своего полкового обозного Кияшку и с ним несколько человек товарищей. В войске Григория Самойловича тоже без бунта не обошлось:

«В Когаке стояли с своими полками высланные в отряд козацкие полковники. Козаки Прилуцкого полка, услышавши, что нелюбимого Самойловича уже нет в гетманстве, пришли в ярость против своих полковых старшин, схватили своего полковника, старого Лазаря Горленка, и живого сожгли в горящей печи; других побили. И в иных полках, стоявших там, происходило волнение, но убийств было меньше: переяславского полковника Полуботка и наказного нежинского Ярему только арестовали... Боярин Голицын, услышавши о таких беспорядках, послал великорусских ратных людей для усмирения мятежных гадячан. Но своеволие быстро распространилось в других полках; козаки стали уходить компаниями, с тем чтобы волновать посполство и подущать мужиков бить орендарей и жечь владельческие усадьбы. Это побудило Голицына ускорить выбор нового гетмана, чтоб скорее восстановить в крае власть и порядок. Он назначил избирательную раду на 25 июля», на которой и был избран гетманом Иван Степанович Мазепа.

Богатство «гетмана-поповича» было конфисковано подчистую: села, хозяйственные имения, промыслы, скот, кони, столовая серебряная посуда, золотые и серебряные украшения с ценными камнями, украшенное оружие, дорогие меха, большое

количество мужской и женской одежды, доспехи, экипажи и тому подобное, а также большое количество денег в наличной монете: 4916 золотых червонцев, 47432 серебряных талеров (на Украине они назывались еще ефимками), 2286 серебряных левков (турецкая монета), 3814 серебряных копеек, 3000 серебряных чехов (русских полторагрошовиков). Половина этих богатств передавалась в казну государства, а другая половина перешла в распоряжение новоизбранного гетмана Ивана Мазепы, который в свою очередь щедро вознаграждал московских бояр за возведение его на вожделенное гетманство.

В сентябре царским указом определен был для жительства Самойловича Нижний Новгород, а затем, дождавшись зимнего пути, велено было отправить его в Тобольск. Сына Якова, стародубского полковника, вместе с женой сослали в Енисейск, а после смерти отца в 1690 году младших Самойловичей перевели все в тот же Тобольск. Яков прожил здесь до смерти в 1695 году.

Козацкий летописец Величко замечает по этому поводу, подводя печальный итог жизни некогда всеильного гетмана:

«Так Бог карает тех, кто по гордости считает ни за что других: вместо маетностей и сокровищ — великое убожество, вместо дорогих карет — московская тележка с подводчиком, вместо парадных слуг — караул из стрельцов, вместо музыкальных инструментов — ежедневный плач и сожаление о своей глупой гордости, вместо роскоши — бедственная неволя...»

Жену низложенного гетмана сослали в Седнево подо Ржевым, и «ей в виде милостыни дали из бывшего собственного состояния часть платья, выбравши для нее такое, какое было попроще, все белье и 200 рублей денег. Там осуждена была она жить с дочерьми в крайней бедности...» Так повествует в «Руине» Николай Костомаров.

Таким безотрадным стал конец жизни гетмана Самойловича: старших детей своих он лишился еще прежде — сын Семен был отравлен в Стародубе, а дочь Параскева умерла от болезни; среднему сыну Григорию боярин Неплюев в Севске в три приема отрубил голову; оставшиеся члены семьи оказались в Сибири...

Воистину, сбывалось буквально на всех участниках этой человеческой драмы слово из Покаянного канона: «Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на несправедное собрание, вся бо сия не веси кому оставиши»...

Но на этом и завершилась малороссийская Руина, вконец разорившая некогда благодатный рай Речи Посполитой, Южную Русь-Украину, — за новую государственную принадлежность и за право беспрепятственно исповедовать православную веру за полвека были пролиты реки крови, пеплом сожженных городов и сел, бесчисленными трупами и костями удобрена эта земля...

Русь-Украина — вместе с Речью Посполитой, практически сломленной и разгромленной, — вступали в 18 век.

Продолжение следует